

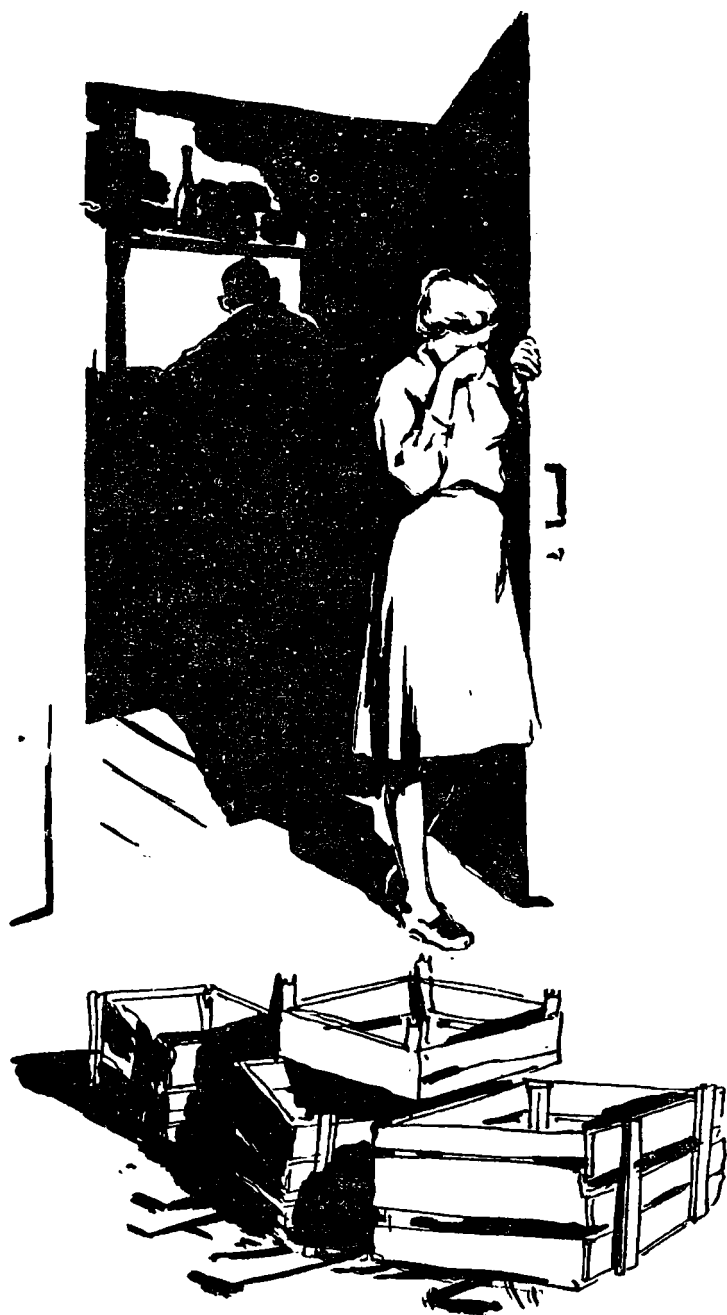
ИЗ ЗАЛА СУДА

А. ЕГИАЗАРОВ
Ю. АНОХИН



ИСПЫТАНИЕ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**



**А. ЕГИАЗАРОВ,
Ю. АНОХИН**

ИСПЫТАНИЕ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1961**

*Егизаров Алексей Сергеевич,
Анохин Юрий Алексеевич*

ИСПЫТАНИЕ

*

Редактор *В. М. Чикул*
Художник *Н. К. Вечканов*
Художественный редактор *И. Д. Богачев*
Технический редактор *Н. М. Тарасова*
Корректор *Л. И. Ушанова*

Сдано в набор 11/VII 1961 г. Подписано к печати 15/XI 1961 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Объем: физ. печ. л. 2,0; условн. печ. л. 3,28; учетно-изд. л. 3,31.
Тираж 100000 экз. А-09571. Цена 8 коп. Заказ 3045.

Госюриздат — Москва, Б—64, ул. Чкалова, 38—40.

Ивановская областная типография, г. Иваново, Типографская, 6.



Я думаю о тебе, мама. Мысленно разговариваю с тобой. Давно начался этот длинный разговор — еще в те дни, когда никто ничего не подозревал. Тогда мне казалось, что ты о чем-то догадываешься, и я с трудом заставляла себя смеяться и петь. Смеяться — чуточку громче, чем надо, петь — чуточку чаще, чем следовало. К счастью, ты не замечала этого; ты радовалась, что у меня хорошее настроение и я не сижу дома по вечерам, как бабка-бобылка. А мне просто было страшно в наших четырех стенах. Я вздрагивала от стука входной двери, от шагов в коридоре, от звона упавшей вилки, а потом уходила в кино, просиживала два сеанса подряд и возвращалась домой, когда город уже спал. Я боялась людей, по ночам плакала.

Знакомые находили, что я здорово похудела; по их мнению, я в кого-то влюбилась. Лева Гольцов, инструктор райкома комсомола, тот самый Лева, который послал меня работать в торговлю, так и сказал:

— Ты, Миронова, поменьше об амурах думай. И вообще — плохо себя ведешь...

— Да? — сказала я самым беззаботным тоном. — Чем же плохо?

— Есть сигнал: третий месяц не платишь взносы.

Он долго отчитывал меня, сурово водя пальцем перед моим носом, а я думала: «Хорошо, что он ничего не знает».

— Я заплачу́, Лева,— сказала я.

— Взносы для комсомольца — дело святое! Учи.

Разговор происходил в нашей палатке; Лева покупал свою ежедневную пачку папирос. Уходя, он сказал:

— Запомни, Миронова: по тому, насколько комсомолец аккуратен с уплатой взносов, легко судить о его моральном облике.

— Ладно, учту, — ответила я.

**
*

Виноград привезли после обеда. Мой заведующий Павел Иванович Басов и рабочий с базы — шустрый дядька по фамилии Подкова — быстро перенесли его в подсобку. Я обрадовалась: виноград завозили не часто, и спрос на него был хороший, не то, что на рыбные консервы, которые пылились на полках.

Подкова торопился, совал мне накладные.

— Давай, давай, расписывайся. Меня в других местах ждут.

Я сосчитала решета: их было двадцать, по пять килограммов в каждом. В накладных стояли те же цифры, и я подписала их. Так бывало и раньше: Басов укладывал товар, а я оформляла приемку. Мы оба были материально ответственными.

Потом я встала за весы, а Басов дал Подкове бутылку водки и банку консервов и начал снимать с решет фанерки с маркировкой.

— Счастливо торговать, — подмигнул Подкова.

— Катись, катись, — сказал Басов. — Получил свое и — давай езжай.

У палатки уже стояла очередь.

— Чего людей держишь? — рассердился Басов. — Начинай..

— А ценник?

Басов заглянул в накладную.

— Вешай старый: по рубль двадцать кило. А я пойду перекушу.

В очереди было уже человек десять. Я открыла окошечко. Весы у меня были точные; взвешивала я аккуратно. Но с фруктами, как ты ни старайся, грамм в грамм не взвесишь. Стрелка обязательно убегает в сторону хоть на два деления. Из-за этого все и получилось.

Подошла очередь мужчины с портфелем. Пока я взвешивала ему килограмм винограда, он не сводил глаз с весов и надувал щеки. Потом вдруг сказал:

— Странно, килограмм, а так мало.

— Сколько есть,—ответила я.

— Это еще не известно!

Мне бы надо промолчать, но у него было такое неприятное лицо, и, кроме того, я знала, что взвесила ему правильно, и ужасно разозлилась.

— Возьмите и проверьте!

Мужчина с портфелем покраснел.

— И проверю! Знаем мы вас... У тебя, может, под чашечку весов гвоздь подложен, знаем мы вас!

— Что вы знаете? Стыдно вам так говорить...

В очереди зашумели. Одни ругали мужчину, другие—меня. Какая-то женщина сказала:

— Напрасно обижаете девушку. Я у нее часто покупаю. Она не из таких.

И тогда я заплакала. Ведь я взвешивала честно! Почему же меня подозревают? Было очень обидно...

Как раз в это время вернулся Басов.

— Иди в подсобку, — сказал он мне.

Я ушла в темную подсобку и досыта там наревелась. Было слышно, как Басов ругался с тем мужчиной и как шумели в очереди. Мне было очень жалко себя. Правильно говорили девочки в школе, что у меня слабый характер. Я зажгла свет и начала перекладывать решета поближе к стойке. На решетках стоял черный отчетливый штамп: «2-й сорт». Такой виноград стоил девяносто копеек.

— Ты чего? — спросил Басов.

Я показала ему на штамп.

— Минуточку, — сказал Басов покупателям и закрыл окошко. — Тебе-то что?

— Как что?! Пересортица же!

— А ты куда смотрела? Накладные подписывала — должна была знать. А сейчас уже десять решет продали.

Значит, в кассе лежало пятнадцать рублей лишних.

— Вот что, — сказал Басов и глаза его сделались злыми. — Ты не шуми. Сама виновата; когда ты торговала, я обедал. Скажи еще спасибо, что на общественного контролера не наваралась...

Как ни прикинь, а получалось, что он кругом прав. Так всегда. И недостатки, и излишки бывали по моей вине. Сам Басов работал без ошибок, в орсе он был на отличном счету.

— Иди-ка ты домой, — продолжал Басов. — Сегодня от тебя толку мало.

Он подтолкнул меня к двери и открыл окошечко.

— Граждане, виноград первого сорта кончился, остался второсортный — по девяносто копеек.

Я послушалась Басова и пошла домой. У меня болела голова, перед глазами все расплывалось. «Как бы мне совсем уйти от Басова? — думала я. — Mamочка, милая, когда же это кончится? И почему именно мне так не везет? Ленка тоже работает в торговле, а у нее все в порядке. И недостатч у нее нет. Хорошо ей... А у меня Басов над душой стоит, и я его боюсь...»

В эту минуту кто-то взял меня за рукав. Я оглянулась и увидела милиционера.

— Гражданка, — сказал он, и у меня подкосились ноги. — Вы что, ослепли, гражданка?

Оказывается, я чуть-чуть не угодила под машину.

— Меньше мечтать надо, — милиционер засмеялся. — Рано помирать собрались, гражданка.

Слово «гражданка» у него звучало весело и дружелюбно. Хорошее, привычное слово! Его можно произнести по-разному. Можно деловито: «Выходите на следующей, гражданка?». Можно весело: «Гражданочка, нос не отморозьте!». Но все равно, как его ни произноси, а звучало оно хорошо и привычно — совсем так, как другое привычное слово: «товарищ». Мы часто заменяем их друг другом; получается вроде бы одно и то же. Но не в местах заключения. Там говорят: «Гражданка Мирнова...» А так хочется услышать: «Товарищ...».

Не скажу, что работа в палатке мне не нравилась. Наоборот, она очень нравилась мне в первые дни. Хорошо было просыпаться рано-рано утром, быстро вставать, завтракать, спешить на работу и чувствовать себя взрослым, ответственным человеком.

Хорошо идти по улице в толпе рабочих, торопливо шагающих на завод! Некоторые из них живут, как и я, рядом, в заводских домах, другие приезжают на автобусе и трамвае. Остановка так и называется: «Машиностроительный завод».

Мой папа, когда был здоров, тоже работал на этом заводе. Он был главным бухгалтером. Сколько раз я прибегала встречать его к заводской проходной к концу рабочего дня!.. Но последние два года он уже не работал: был тяжело болен и получал пенсию.

А вот теперь и я шла на работу, только не на завод, а в палатку, принадлежащую заводскому орсу. Палатка стояла рядом с проходной, и поэтому мне было всегда по пути с веселым, деловым потоком спешащих людей.

В этом потоке все знают друг друга, здороваются, смеются и на ходу ведут разговоры о каких-то шпиндельных станках, о плане, процентах. Только и слышишь: «лекало... фрезёр... инструменталка...».

Меня вскоре все стали считать за свою. Многие были нашими соседями по дому и знали меня с детства, а те, что жили вдалеке от завода, видели в палатке, когда покупали у нас продукты.

Ну, а Галю Строеву, Свету Смагину, Сережку Минаева и других девчат и ребят я знала куда как хорошо: мы все учились в одной школе, вместе закончили в прошлом году десятый класс и вместе решили пойти работать на завод... Но мама была против, и я уступила ее настояниям.

— Не грусти, Зойка! — сказал мне тогда Сережка. — Ты еще будешь работать с нами, вот увидишь! А пока приходи в гости, не забывай старых друзей!

А Галя и Света попросили Леву Гольцова, чтобы он помог мне устроиться на работу. И Лева дал мне направление в заводской орс.

Девчата и ребята работали на заводе в механическом, сборочном, термическом цехах, на главном конвейере, а

я стояла за прилавком и отвечивала покупателям масло и сахар.

Работать в палатке было нетрудно. К тому же днем дела было немного, и у меня оставалось время почитать книгу, а то и сбежать в кино. Басов так и говорил:

— Чего киснешь, Зоя? Иди-ка в клуб, я один обойдусь.

Ох, какой он был тогда заботливый, Басов! Как легко с ним было и просто. Работал он прямо как артист, — точно, без ошибок. Скажут ему: «Сто граммов масла». И моргнуть не успеешь, как все готово. Полоснет широким ножом, подхватит кончиком «вырез», на лету подложит кусочек пергаментной бумаги и — пожалуйста: ровно сто граммов.

Весы у нас в палатке всегда были в исправности; халаты — чистые; в книге жалоб — одни благодарности.

— Наша точка образцовая, — сказал мне как-то Басов. — Не пожалеешь, что работаешь здесь.. Премии за перевыполнение, ну и всякое там другое...

Что другое, он так и не объяснил. А потом, к концу первого месяца моей работы в палатке, Басов заболел. До этого он дня два жаловался на простуду, кашлял и глотал какие-то пилюли.

— Вам в постель надо, — сказала я.

— Надо. А ты без меня справишься?

Я ответила, что постараюсь, и Басов на следующее утро не вышел на работу. В тот же день Подкова привез с базы колбасу. Много, килограммов двести.

— А где Пал Иванович? — спросил Подкова.

— Болит.

— Стало быть, ты за главного?

— Стало быть, я!

— Ладно. Принимай товар.

Сгрузили с машины запечатанные бумажные мешки с колбасой, и я расписалась на накладных.

— Ты Басову позвони, — посоветовал Подкова. — Может, он тебе что и укажет. На себя не очень надейся...

Когда Подкова укатил на своем грузовике, я закрыла палатку и побежала звонить Басову.

— Молодец, что позвонила, — сказал мне Басов. — Вот что, Зоя, приходи быстренько ко мне, я посмотрю накладные. Подкова-то наш... Впрочем, что там по телефону говорить. Приходи. Жду.

И дал мне адрес.

Оказалось, что жил он почти рядом со мной, в новом заводском доме. Я думала, что Басов лежит в постели с завязанным горлом и пьет лекарства, а он сам открыл мне дверь и был одет, будто ждал гостей — в костюме и при галстуке.

— К врачу собираюсь, — сказал он. — Чаю хочешь?

Он налил мне чаю и стал разглядывать накладные. Долго смотрел на подписи, на штампы. Я даже беспокоиться начала.

— Ты не удивляйся, — сказал Басов. — Поработаешь с мое, тоже будешь бумажки обнюхивать. Вообще-то накладные верные, но ты с Подковой держи ухо востро — спокойно может надуть.

— Как так?

— А так. Ты, Зоя, в нашей системе недавно, зеленая еще, а я за тебя несу полную ответственность. Потому и проверяю. Не обижайся.

— Я не обижаюсь.

— То-то. А ведь как бывает: придет новый человек в торговлю, напортачит, а потом полгорода шумит: в торговле, дескать, все такие и сякие, и жулик, мол, там на жулике. Нехорошо. В нашем деле жуликов не больше, чем в любом другом. Я вот пятнадцать лет работаю и ни одного выговора не получил. А почему? Да все потому, что слежу за отчетностью. Сам себя сто раз в день проверяю. И тебе совету.

— Спасибо, — сказала я.

— Ну, иди, Зоя. Накладные оставь: не дай бог — потеряешь. Скандала не оберешься.

По дороге я думала о том, как удачно получилось, что я работаю с Басовым и что напрасно ссорилась с мамой и хотела идти на завод, а не в палатку. В палатке тоже интересно.

Лева Гольцов, когда давал мне направление, сказал:

— Мы тебя, Миронова, посылаем на ответственный участок коммунистического строительства. Будем тебе помогать, но и требовать будем со всей строгостью.

Покупая папиросы, он иногда спрашивал Басова:

— Ну как, справляется Миронова?

— Справляется, — говорил Басов. — Учится помаленьку.

Лева строго кивал.

— Кадры надо воспитывать.

За это Басов прозвал его воспитателем. Стоило Леве появиться возле палатки, как Басов звал меня:

— Иди, молодой кадр, воспитатель твой явился.

Только когда открыла палатку, я вспомнила, что не списала цену с накладных. Пришлось снова звонить Басову. Он отругал меня за небрежность, сказал, что колбаса эта второго сорта, килограмм ее стоит два пятьдесят, и наказал мне проверить, в порядке ли упаковка. Упаковка оказалась целехонькой, и я успокоилась. Выписала ценник, выложила круг колбасы на витрину, отрезала себе маленький кусочек на пробу. Вкусно! Хорошая колбаса.

К вечеру я продала полтора мешка. Одна старушка даже дважды приходила. Сначала купила полкило, а потом, когда я уже собралась закрывать, взяла еще столько же.

— Понравилась? — спросила я.

— И не говори, дочка, — сказала старушка. — Ты мне вот эту взвесь, которая потолще.

Я дала ей ту, какую она хотела, — из первого мешка. Во втором колбаса была немножко другая, посветлее и потоньше, но, по-моему, ничем не хуже.

«Наверное, разные партии», — подумала я. Мешки-то были одинаковые, с одинаковыми надписями: название фабрики, вес и название колбасы.

Дней через пять, когда от колбасы и запаха не осталось, пришел Басов. Оказалось, он каким-то образом узнал, что будет ревизия.

— Теперь держись, Зоя, — сказал Басов. — Это тебе не устный экзамен по литературе.

Я была уверена, что у меня все сойдется. Недаром я каждый день прикидывала на бумажке, что и в каком количестве продано. Нашла даже у себя недостачу — двадцать копеек.

Ревизию делал незнакомый мне представитель орсаседой, в военном костюме и папахе. Не знаю почему, но снабженцы любят носить военное, для солидности, что ли.

— Ой, Басов! — сказал представитель. — Возьму я тебя в оборот!

— Не выйдет, Сидор. У нас все в ажуре.

— Посмотрим.

Лицо у Сидора было мрачное, точно он был заранее уверен, что у нас не все чисто.

Часа через три, когда все было описано, пересчитано и взвешено, Сидор пощелкал на счетах и сказал:

— Могу поздравить: недостача.

— Двадцать копеек? — спросила я.

— И еще девяносто шесть рублей. С хвостиком.

— Шутишь! — сказал Басов.

— Хороши шутки!

Ноги у меня стали ватными. Что уж я там лепетала — не помню, помню только, как Басов ругался с Сидором и все искал, где ошибка. Пока они сверяли накладные, я сидела на ящике и плакала.

— Не реви! — сердито сказал Басов.

— Где второй ценник на колбасу? — спросил Сидор.

— Не знаю, — ответила я.

Басов тряхнул меня за плечо.

— Как не знаешь?

— Был один, — сказал я.

— Ну, конечно, — усмехнулся Сидор. — Зря спорил, Басов. Как же это ты обмишурился?

— А я почему знаю! Я всю неделю болел... Ты, Сидор, погоди писать акт. Недостачу мы покроем.

Тут уж я едва не заревела в полный голос. Как покроем? Где я возьму деньги? Пятьдесят рублей — вся моя месячная получка! А маме что скажу?..

— Дело ваше, — сказал Сидор скрипучим голосом. — Внести, конечно, нужно, но акт я составлю.

И сколько Басов с ним ни спорил, он написал длинный акт.

— Черт с тобой! — сказал Басов и подписался.

Я тоже подписалась. Представитель орса оставил нам копию и ушел, а Басов долго пилил меня: и растяпа я, и дура, — никогда не думала, что он может так ругаться. Потом он немного остыл и сказал:

— Подвела ты меня под монастырь с этой колбасой. И как тебя угораздило?

— Что?

— А то! Смотреть надо! По накладным семьдесят пять кило вторым сортом шло, а остальное — первым. А ты все вторым продала!

Не зря, значит, старушка просила ту, «которая потолще»!

— Надо платить, — сказал Басов. — Да не реви ты! Я же знаю, что денег у тебя нет. Сам внесу. Будешь постепенно из получки расплачиваться... Это тебе наука.

В голосе его было такое огорчение, что я снова заревела. Тогда я еще ничего не знала и верила Басову. Сгоряча я даже не вспомнила, что это он сказал мне по телефону цену и умолчал о первом сорте. «Правильно он меня ругает, — думала я. — Только начала работать, как уже недостача. А у него за пятнадцать лет ни одного выговора».

Маме я ничего не сказала.

**
*

Мы давно уже не были откровенны, мама. Пожалуй, с тех пор, как папа тяжело заболел. У него часто и подолгу болела голова, он почти не поднимался с постели, а если и поднимался, то шел по коридору тихими, осторожными шагами, и когда думал, что его никто не видит, держался за стенку. Но он не грустил, говорил, что чувствует себя хорошо и всегда приберегал в запасе какую-нибудь шутку. Меня он дразнил «красным купцом» и объяснил, что так звали работников торговли в годы нэпа.

В последние свои дни папа знал то, что тогда всеми скрывалось от меня, — врачи нашли у него рак. Папу положили в больницу, и мы с тобой, мама, часто приезжали его навещать. Он уже не вставал с постели, но шутил так же, как и раньше.

А когда я приезжала к нему одна, подолгу разговаривал со мной о том, какой надо быть в жизни: смелой, честной, справедливой.

— И не ссорься с мамой, помогай ей, — говорил он мне. — Только не будь в жизни слабой, как она. Будь мужественной.

Мы с тобой не ссорились, мама. Просто как-то раз само собой обнаружилось, что мы не понимаем друг друга.

По-моему, это случилось в тот день, когда ты, узнав, что мы всем классом решили идти работать на завод, сказала мне, что интеллигентной девочке не место у станка и что ты не для того меня растила, чтобы я сделалась слесарем или токарем.

— Мода-медой, — говорила ты, — но куда тебе с твоим здоровьем к станку? Нет, Зоенька, на заводе нужны крепкие руки, там нельзя быть обузой... Ну, что ты молчишь, отец? Скажи ей, что она порет ерунду.

Папа (он тогда еще был дома) усадил меня рядом с собой на кровать и сказал:

— Не надо ее учить. Она уже взрослая.

Я поняла, что он за меня, но не хочет спорить.

Мама все-таки настояла на своем. А потом Лева Гольцов дал мне направление в орс.

— Не горюй, — сказал папа. — Ты еще свое возьмешь!

И рассказал мне, как в годы нэпа его из чека перевели на работу во Всекобанк — управляющим конторой.

— Представь себе, — говорил он. — Сел я в своем кабинете и думаю: с чего начинать? Контора-то наша финансировала не только государственные предприятия, но и разных нэпманов. Тут и думай: дать этому частнику кредит или нет? Где гарантия, что он не прогорит? А не дать — кто же торговать будет?

— Ну и как? — спросила я.

— Разобрался понемногу. Не сразу. Финансы — вещь капризная. С деньгами нужно быть осторожным, особенно, если они государственные.

— Тебе было трудно?

— Конечно. Особенно трудно было привыкнуть к тому, что нэпманы называли меня банкиром. Так и говорили: гражданин банкир.

Папа шутил, и мне было смешно: никак не укладывалось в голове, что папа был «банкиром» и в то же время ходил в черной сатиновой жосоворотке и носил в заднем кармане галифе именной браунинг.

... Я не думала, что папа был болен настолько тяжело. Ни врачи, ни мама не говорили мне всей правды. Мне все казалось, что вот-вот наступит улучшение, папа встанет с постели и придет домой.

Это убеждение настолько прочно укоренилось в моей голове, что в последние дни я даже стала реже бывать у папы. То подружки звали меня в кино, то Павел Иванович затевал после работы переучет, то попадалась интересная книжка, и я спешила домой, чтобы забраться с нею в постель и читать до поздней ночи.

— Когда же ты поедешь к папе? — спрашивала мама.

— Завтра, — говорила я.

В выходной я все же собиралась и ехала в больницу.

— Ну, вот, — говорил папа. — Наконец-то и Заяц изволил пожаловать! — И озабоченно спрашивал: — Ну, как работа? Устаешь, наверное?..

Однажды вечером мама была у папы в больнице и приехала очень поздно. Я ложилась спать.

— Папе хуже, — сказала мама и тут же добавила: — Ты спи, доченька.

Утром она не разбудила меня. Я посмотрела на часы и ахнула: проспала!

— Все из-за тебя! — накинулась я на маму. — Спасибо тебе!

— Доченька, — сказала мама. — Ты только не пугайся... Я вчера не могла тебе сказать... Папка наш умер...

* *
*

Басов был очень заботлив в тот день.

— Не утешаю, — сказал он. — Понимаю и — не утешаю. Иди домой. Напрасно пришла.

Я и сама знала, что напрасно.

— Может, я могу помочь? — спросил Басов.

— Чем? Чем вы можете?..

— Ну, венок купить... У тебя деньги есть?

— Нет...

— Вот горе! — досадливо сказал Басов. — И у меня нет. А венок купить надо... Давай так: возьми сколько нужно из кассы и напиши расписку.

«Венок... — подумала я. — Лучше куплю папе цветов».

Я написала расписку, что взяла из кассы пятьдесят рублей, и еще под диктовку Басова написала заявление о трехдневном отпуске.

На все деньги я купила цветы. Я не плакала. Заплакала только ночью, когда вспомнила, как мама сказала:

— Он очень мучился. Потом открыл глаза и говорит: «Скажите Зое...» И умер...

Особенно ужасным мне казалось то, что я никогда не смогу узнать, какие прощальные слова он хотел сказать мне.

Теперь я знаю. Он хотел сказать:

— Пусть будет мужественной.

Мне всегда не хватало мужества. С тех пор, как я помню себя, я не могла избавиться от робости. Совсем маленькую меня нянчила старушка-родственница. Позже она не разрешала мне играть с ребятами из нашего двора. В школу меня провожала мама до тех пор, пока надо мной не стали подшучивать даже преподаватели. Но не все. Учительница литературы, так та ставила меня в образец другим. «Вы правильно воспитываете дочь, — говорила она маме в моем присутствии. — Девочку нужно оберегать от излишней самостоятельности. Подумайте, мне на днях рассказали...» Она переходила на шепот, а мама охала и ужасалась:

— Не может быть!

— К сожалению! — мужским басом рубила литераторша.

Мама вздыхала:

— Какая распушенность...

Я многого не умела делать: плавать, быстро бегать, ходить на лыжах. Мне нравились шахматы. Маме они тоже нравились: это была смирная игра, избавлявшая меня от риска набить себе шишку или — того хуже — поломать ногу. Так я и росла...

**
*

Басов почему-то очень обрадовался моему возвращению, словно я отсутствовала не три дня, а три года. Он ни о чем не расспрашивал меня и делал вид, что не замечает ни моих опухших глаз, ни того, что я поминутно путаюсь то в весе, то в счете.

Наконец, я сама сказала ему, что плохо чувствую себя. Он молча отодвинул меня плечом от стойки и занялся очередным покупателем.

Сидеть в палатке без дела было скучно, и к тому же я мешала Басову — доставая с полок продукты, он то и дело задевал меня локтем.

— Может, в подсобке прибраться? — спросила я.

— Не надо, — сказал Басов.

— Тогда я буду кульки свертывать, ладно?

— Не надо. Чего ты ерзаешь? Сиди себе, отдыхай. Отдыхай, Зоя...

Я смотрела, как быстро и тщательно он нарезает прозрачными ломтиками сыр, и ломала голову в поисках подходящего дела. «Ценники что ли переписать?» — подумала я.

Эти ценники давно мозолили мне глаза. Многие висели уже по нескольку месяцев и выгорели: цифры на них сделались едва заметными; были и такие, в которых даже Басов разбирался с трудом, а я уж и подавно путалась. А, кроме того, на некоторых Басов второпях вывел цифры так замысловато, что никак нельзя было понять — пятерка написана или восьмерка, шестерка или ноль.

Пока Басов резал сыр, я сняла с витрины старые ценники и стала подрисовывать цифры химическим карандашом.

— Ты что это? — спросил Басов.

— Подрисовываю.

— Не надо.

— Как же не надо, Пал Иваныч? Смотрите, какие они...

— Знаю, — сердито сказал Басов и отобрал у меня ценники. — Нашла занятие...

Мне стало обидно, что он злится ни с того ни с сего.

— Покупатели путаются! — сказала я.

Басов повесил ценники на место.

— У продавца язык должен быть. Если покупатель путается, скажи ему цену... А хозяйничать здесь нечего. Тоже мне, госконтроль!

— Ну и пожалуйста!

Минут пятнадцать мы оба молчали, потом Басов пробурчал:

— Пыль с банок сотри.

Это значило, что он уже не сердится и готов мириться.

— Вредный вы, — сказала я.

— Вредный, — согласился Басов. — Поработаешь с мое — и не такой станешь. Нервная у нас с тобой работа.

По нему не было особенно заметно, чтобы он очень нервничал, но я согласилась:

— Верно, Пал Иваныч.

Я взяла веник и стала подметать пол в подсобке, но Басов позвал меня. Вид у него был нерешительный.

— Вот что, — сказал он и почесал подбородок. — Дело есть. Можешь съездить на базу?

— Могу.

— Тут такая история, — совсем уж нерешительно пробормотал Басов. — Пока тебя не было, Подкова сахарный песок привез...

— Ну и что? — спросила я. Пустой мешок из-под сахара я видела в подсобке.

— Привезти-то привез, — сказал Басов. — А накладных на него нет. Старая песня с этим Подковой... Так вот, ты бы съездила на базу и оформила все, как надо.

— А разве можно?

— Как тебе сказать... Но тут такая штука — сама посуди: тебя не было, отлучаться мне надолго нельзя, а план на консервах не сделаешь. Я и подумал: план горит? Горит. В кассу долг нам с тобой вносить надо? Надо. Думаю: возьму песок, а оформлю потом... Ты, конечно, в этом деле сторона; имеешь полное право до него не касаться...

Мне очень хотелось помочь Басову. Он-то мне помог да еще как! И недоставу поделил пополам, и денег разрешил взять на цветы... Конечно, нехорошо, что он принял товар без документов, но, с другой стороны, все равно рано или поздно придется оформлять этот злосчастный сахар.

— Ладно, — сказала я. — Съезжу.

— Ты запиши: четыреста кило, пять мешков. А то тебе Подкова чего доброго такое наворочает! С него станется!

Я тогда не могла и мысли допустить, что Басов думает о Подкове иначе, чем говорит, и что они большие друзья. Это обнаружилось позже, как и все остальное.

До этого дня я не бывала на базе и думала, что она помещается в каком-нибудь небольшом домике вроде барака. На самом же деле база занимала не один, и не пять, а добрый десяток длинных одноэтажных домов из красного кирпича.

В конторе мне выписали пропуск, и я пошла искать Подкову. Я бы, наверное, заблудилась, но, к счастью, Подкова сам вынырнул мне навстречу из-за угла.

— А! — сказал он. — Бакалея-гастрономия!

— Я за накладными.

— Знаю. Мне Басов звонил. Идем...

Он провел меня в темную комнатку, усадил на стул и занялся накладными. Посапывая, Подкова положил копировальную бумагу и вывел каракулями на чистом бланке накладной название товара и вес, подписался, поставил число.

— Порядочек, — сказал он. — Как гора с плеч.

Я просмотрела накладные: все, вроде, верно, только число сегодняшнее.

— Давай, давай, — торопил Подкова. — Подписывай.

— А число? — спросила я.

— Ну и что? Накладные идут по порядку. Как же я тебе задним числом выпишу?

«Верно», — подумала я и подписалась.

— Сейчас обратно? — спросил Подкова. — Если обратно, тогда обожди чуток, я тебя подвезу. Давай пропуск.

Я дала ему пропуск и пошла побродить по базе: интересно было посмотреть, как тут работают. Я обошла почти всю территорию, набрела на весовую площадку и здесь столкнулась с Подковой.

— А я тебя ищу, — обрадовался Подкова. — Сейчас поедем...

Он высморкался в пальцы, достал платок и вытер нос. Я засмеялась.

— Чего скалишься? — обидчиво спросил Подкова. — Хихикать ты мастерица, а работать, небось, — ребенок. Накладные-то не посеяла?

— Нет.

— Смотри... И как тебе Басов дела доверяет?

— Доверяет.

— И зря... Вот что, лучше я сам к Басову съезжу. Давай накладные.

— Не дам, — сказала я.

Подкова пошмыгал носом.

— Ты это брось. Я за товар отвечаю. Давай.

«А пусть его, — подумала я. — Свое дело я сделала; теперь пусть они сами с Басовым разбираются». И отдала накладные.

Машина, нагруженная какими-то ящиками и мешками, тем временем съехала с весов. Подкова сел в кабину, а мне показал рукой: мол, лезь наверх. Я влезла, и мы поехали к воротам.

У ворот машина затормозила, Подкова предъявил вахтерше бумаги и весело приподнял кепочку.

— Привет деткам!

— Езжай, — строго сказала вахтерша и почему-то неодобрительно посмотрела на меня.

Как видно, у себя на базе Подкова любовью не пользовался.

Ехали мы каким-то незнакомым мне путем, и мне показалось, что мы направляемся не к нашей палатке, а совсем в другую сторону. Я постучала в окошко, и машина затормозила.

— Чего стучишь? — спросил Подкова, выглядывая из кабины.

— Куда мы едем?

— Ах ты, незадача! Забыл я о тебе, совсем, понимаешь, забыл. Мне надо по делу еще в пару мест заехать. Ты уж извини. Придется теперь тебе со мной помотаться... Или давай так: возьми свои накладные и доберешься трамваем. Я тебя до остановки довезу.

Плутать по городу с Подковой мне совсем не улыбалось. Кто знает, куда он еще поедет и сколько там пробудет.

— Так бы сразу и говорили! — сердито сказала я.

— Забыл. Вот незадача!

У трамвайной остановки Подкова высадил меня.

— Счастливо доехать, — сказал он, отдавая мне накладные. — Басову передай персональный...

— Поехали что ли? — угрюмо буркнул широкоплечий шофер.

Взревел мотор, и машина умчалась.

**
*

Иногда ко мне забегали девочки — Галя Строева, Света Смагина и моя закадычная подружка Ленка Коробова. Галя и Света работали на заводе, а Ленка, как и я, в торговле, только не в продуктовой палатке, а в большом специализированном магазине одежды.

— Переходи к нам, — предлагала мне Ленка. — Спасибо скажешь.

— А мне и так неплохо.

— У нас интереснее, — тараторила Ленка. — Мы теперь по вечерам ходим на курсы, скоро будем сдавать на разряд... Ой, как мне влетело вчера! По первое число! Понимаешь, пришел к нам какой-то пожилой мужчина и просит показать ему серое пальто с витрины. Я говорю: «С витрины нельзя, а на вешалках серых пальто нет». Старшая как услышит, отозвала меня и говорит: «А ты на складе смотрела?» — «Нет». — «Надо, — говорит, — сначала смотреть, а потом отказывать». И пошла, и пошла...

Слушая Ленку, нельзя было не улыбаться: если уж это она считает неприятностями, то что бы она сказала о моей недостатке? Ох, даже подумать страшно!

— А недостатки у вас бывают? — спросила я.

— Нет, — сказала Ленка и покрутила головой. — Что-то я не слышала. Если бы была, знаешь, какой шум поднялся бы? Только держись! У нас одна кассирша на рубль обсчиталась, так ей сразу выговор...

Счастливая Ленка. Ей не приходилось возиться с накладными, ценниками, инвентаризационной книгой!

Ленка со вкусом пила чай и рассказывала:

— Наша директорша решила всем нам заказать форму, как в московском ГУМе. Говорит, что форма дисциплинирует работников. Смешно, правда?

Я не находила в этом ничего смешного. По-моему, форменные костюмы намного красивее моего синего стирального-застиранного халата.

— Болтушка ты, — сказала я.

— Вовсе нет, — засмеялась Ленка. — Впрочем, я от формы не отказываюсь. Но главное — содержание...

«Содержание» было очень хорошеньким и знало это. Я любила Ленку и все ей прощала, даже то, что она называла меня обывательницей.

— Ты — мещанка! — безапелляционно утверждала Ленка. — Посмотри вокруг себя: салфеточки, картиночки, безделушки... Ненавижу!

Я пыталась спорить:

— А мне нравится. Что плохого в салфетках?

— Конечно, — говорила Ленка. — Всем мещанам нравится!

Между прочим, папа тоже терпеть не мог эти салфеточки. В его комнате их не было.

Говорят же, что горе никогда не приходит одно. Заболела мама. Врач сказал, что у нее обострился язвенный процесс, но что операцию делать не стоит, а маме, по его мнению, лучше всего помогут покой и хорошая диета.

В поликлинике маме составили список того, что можно есть, а что нельзя. Можно было есть тертые яблоки, яйца, простоквашу и другие продукты, которые зимой как раз не всегда бывают в продаже.

— Пустяки, — сказал Басов, узнав об этом. — Достаточно твоей маме диеты в прекрасном виде. Ты говори, когда что требуется, и Подкова нам привезет.

И правда — уже на следующий день Подкова привез целый сверток. Там были и яблоки, и яйца, и даже баночки с простоквашей.

— Пал Иваныч, — сказала я. — Отпустите меня, пожалуйста. Я сбегаю домой и принесу деньги.

— Зачем? — удивился Басов. — Ты что же — каждый день будешь домой бегать? Не набегаешься.

— У меня с собой денег нет.

— И бог с ними. Ты, Зоя, бери пакет, а в кассу положи расписку, на сколько взяла. Из полочки заплатишь.

— А можно?

— Люди здесь свои, — сказал Басов. — Страшного ничего нет. Понятно, в правилах это не записано, но правило — что? Одна теория, а мы имеем дело с практикой.

И я успокоилась. Маме я объяснила, что продукты мне дают в счет зарплаты, и она тоже не волновалась.

Каким-то образом, наверное, через Галю и Свету, о моих бедах узнали рабочие, наши постоянные покупатели. Особенно сочувствовал пожилой усач, Иван Иванович Евсеев, старый папин знакомый. Он работал в нашем орсе столяром.

— Мать-то как? — спрашивал он меня, покупая папиросы. — Полегче ей?

— Легче, Иван Иванович, — отвечала я.

— Ты скажи ей: народная медицина очень одобряет одно средство — мед со спиртом. И врачи не отрицают.

— Скажу.

— Вот-вот, — говорил Иван Иванович. — Полезное средство.

Я, конечно, забыла об этом разговоре, но Иван Иванович не забыл. Как-то утром он постучал к нам в палатку и, конфузливо улыбаясь, поставил на прилавок эмалированный бидончик.

— Значит, так, — сказал он. — Меду я достал, а спирт — сама расстарайся.

Я стала доставать деньги, но Иван Иванович обиделся:

— Нехорошо... Кто же за подарок платит?.. Только бидон мне обязательно завтра верни, а то жена ворчать будет...

Мед был цветочный, душистый, от него так и пахло весной. Мама пила с ним чай. Спирт же, посоветовавшись, мы решили не применять.

— Передай Ивану Ивановичу большое спасибо от меня, — наказала мне мама.

Я передала, а заодно решила по-своему отблагодарить его и не взяла у него денег, когда он брал свои папиросы.

— То есть как? — удивился Иван Иванович.

Мне стало совестно, что я делаю ему такой маленький ответный подарок.

— Я... Это от меня... Вам...

Густые брови Ивана Ивановича поползли вверх.

— Думай, что говоришь, Зоя!

— Я думаю...

— Плохо думаешь. Прими деньги!

Тон у него был такой, что я не посмела спорить.

— Так-то лучше, — сказал Иван Иванович. — Глупая ты. Кто же так поступает? Берешь чужую вещь и даришь ее. Разве можно?

— Я бы сама заплатила!

— Да ну? — притворно удивился Иван Иванович. — Тогда — молодец. А я полагал — просто так возьмешь. — Он перестал улыбаться и сделался серьезным. — Из каких же это капиталов ты подарки делаешь?.. Получаешь ты немного. Каждому знакомому дашь по пачке — вот и вся твоя получка...

Тут раздался заводской гудок, и Иван Иванович загоропился.

— В другой раз думай, — сказал он мне на прощанье. — Не сердись. Маме кланяйся. Легче ей?

— Намного!

Мама потихоньку поправлялась. Она и в те дни, когда язва не давала ей покоя, лежала очень мало, а теперь, едва боли начали утихать, целыми днями возилась с домашними делами, убирала, готовила, а по вечерам вышивала бесконечные свои салфеточки. Меня она не слушалась. Сколько раз я говорила:

— Врач велел тебе лежать.

— Мало ли что велит врач, — отвечала мама. — Я себя отлично чувствую!

Она даже запретила мне приносить продукты из палатки. Это было очень кстати, потому что мой долг незаметно вырос до такой суммы, что мне и вспоминать о нем не хотелось.

Впрочем, Басов считал, что ничего ужасного в этом нет.

— Расплатишься, — говорил он.

**
*

Меня вызвали в орс к товарищу Панькину.

— Зачем это, Пал Иванович? — спросила я Басова.

— Мне начальство не докладывает. Может, перевести тебя хотят, поскольку опыт у тебя уже есть... Если предложат, ты как — согласишься?

— Нет, — сказала я и подумала, что Басов что-то знает. Во всяком случае догадывается — слишком уж у него спокойный вид. Когда его самого вызывают в орс, он всегда волнуется, суетится, собирает всякие бумажки. А тут он был как-то уж очень спокоен.

В орсе мне показали кабинет Панькина. Я постучалась, вошла и увидела того самого представителя, который делал у нас ревизию.

— Здравсьте, — сказала я немного растерянно.

— Угу, — ответил Панькин.

— Мне товарищ Басов сказал...

— Ага! — мрачно перебил меня Панькин. — Вам товарищ Басов сказал. Тем лучше! Ну, рассказывайте, девушка...

— А что рассказывать? — спросила я.

— Все. И поподробнее.

Он не предложил мне сесть, но я все-таки села и подумала, что ровным счетом ничего не понимаю. Это я и сказала Панькину.

— Так-так... Видно вы, Миронова, совесть с молочными зубами потеряли.

Он вдруг вскочил из-за стола и закричал на меня, раздувая щеки:

— Ты мне вола не крути! Видели мы этиких фифочек!.. Мы за них на фронте кровь проливали, а они позорят советскую торговлю! Ты понимаешь, где работаешь?! Понимаешь, чьи деньги базаришь?! Ты рабочие средства базаришь!..

Я посмотрела на него, как на сумасшедшего, но он уже перестал орать, снова сел за свой стол и сказал довольно спокойно:

— Ну, Миронова, говори всю правду.

— Да какую же? — спросила я с отчаянием.

Честное слово, в эту минуту я сказала бы ему все, что угодно, только бы он выпустил меня из своего кабинета. Я почему-то решила, что он припадочный.

— Ты сколько у нас работаешь? — спросил Панькин.

— Четвертый месяц.

— И уже научилась обманывать. Сколько тебе дал Подкова?

— Что дал? — удивилась я.

Панькин снова раздул щеки.

— Ты что — издеваешься?

— Да нет же, — сказала я.

— Я тебя спрашиваю: сколько ты взяла у Подковы за сахар?

— Я?!

— Ты мне вола не крути!.. И не представляйся. И не таких видели. Ты, может, и денег из кассы не брала? И расписка на пятьдесят рубликов не твоя? И махинировала с виноградом не ты? И с колбасой не ты потратилась?

Панькин вывалил на стол целую грудку бумажек. Среди них были и мои расписки за яички и другие продукты, и накладные, и письмо в конверте с картинкой, и еще какие-то документы.

Надо отдать Панькину справедливость: объяснять он умел. Меньше чем через десять минут я уже знала, что безнадежно впуталась в ужасные неприятности и что от Панькина зависит, буду я арестована или нет.

— Ума не приложу, — сказал Панькин, — на что вы с

Подковой рассчитывали, когда вывозили сахар? Ты же потом оприходовала эти бестоварные накладные.

Я попыталась объяснить Панькину как было дело. Он выслушал мой лепет и сказал:

— Ты что же, Миронова, думаешь, что я у Басова объяснений не взял? Сахар, который он продавал, был оформлен, а накладные ему отосланы на следующий день. А вы с Подковой через четыре дня вывезли еще пять мешков на сумму четыреста семьдесят рубликов. Это установлено: и накладные на сахар есть, и отвес, и в твоём пропуске номер машины записан, с которой вы выезжали. Тут, Миронова, ты здорово прогадала, если думала, что это тебе сойдет с рук... И не оправдывайся. Я бы, пожалуй, тебе поверил, если бы не все остальное. А все остальное выглядит некрасиво. Виноград второго сорта продавала за первый. Об этом пишет уважаемый рабочий, передовик нашего завода. Факт? Факт! Берешь себе домой продукты, а в кассу вместо денег кладешь что? Бумажки? Опять факт. Забираешь на личные нужды пятьдесят рубликов, а отчитываешься чем? Распиской? Некрасиво. Пересортицу с колбасой допустила? Было такое? Было! Прямо говорю, не знаю, что с тобой делать. Судить ведь тебя нужно, Миронова, вот оно что!

— Не надо, — сказала я. — Не надо, товарищ Панькин...

— Нашкодила, и в кусты?

— Неправда!..

— Скажите пожалуйста, не виновата она! Это ты следователю объяснишь!

Как только Панькин упомянул о следователе, я почувствовала, что вот-вот хлопнусь в обморок. Я, наверное, сильно изменилась в лице, потому что он вдруг выскочил из-за стола и стал совать мне в руку стакан водой.

— На-ка выпей... Ишь, какая нервная!

Я пила, и зубы мои мелко стучали о край стакана. Самой было неприятно слышать, как они стучат, но я ничего не могла с ними поделать.

Панькин расхаживал по кабинету, и его сапоги противно скрипели.

— Да, порадуешь ты мамашу, — с упреком сказал он, останавливаясь напротив меня. — Мамаша, наверное, в дочке души не чает, а дочка вот какне выписывает вен-

зеля! И где, скажи ты мне, учили тебя такому безобразию? Школу кончила советскую, в торговле работаешь советской, прислал тебя райком комсомола... Ну, что мне с тобой делать?

Он, казалось, был очень расстроен.

— Надо бы тебя судить, да рука не поднимается, — помедлив с минуту, продолжал он. — Твое счастье. Не могу. Как подумаю, какое пятно на всех нас ляжет, рука не поднимается посылать тебя в суд... Беру на свою совесть... Пиши объяснительную записку...

Вероятно, когда умирающему говорят, что он выздоревает, он чувствует то же, что тогда почувствовала я. Только что на меня рухнула целая гора — растрата, взятка, предстоящий суд, только что не оставалось даже спасительной соломинки; и вот несколько спокойно сказанных Панькиным слов вернули меня к жизни.

— Спасибо вам, — прошептала я.

Панькин дал мне два листа бумаги и сказал:

— Пиши коротко, но честно. В таком стиле: признаю, но прошу учесть неопытность и так далее. О Басове напиши: он несет солидарную с тобой ответственность. Меньше с тебя взыщем. И расписку пиши, что внесешь в кассу шестьсот двадцать рубликов. Столько с тебя причитается. Можешь проверить... Сумму поставь прописью.

Объяснительную и расписку Панькин спрятал в одну папку со злополучными накладными на сахар и письмом рабочего, которое я так и не прочла. На папке было вытеснено: «К докладу».

В объяснительной я, кажется, сделала ошибки. Я думала не об орфографии, а о том, где же мне взять такие громадные деньги — шестьсот двадцать рублей!

**
*

В первые дни после разговора с Панькиным я вздрагивала от любого шороха. Больше того, я стала ходить домой дальним путем, так как короткий пролегал мимо отделения милиции.

Басова тоже вызывали в орс к Панькину, и вернулся он оттуда злой-презлой. Закрыл палатку, повесил табличку «Обед», усадил меня в подсобке и сказал:

— Впутала ты меня в катавасию!

А я-то надеялась, что он посоветует, как мне быть!.. Я собрала все свое мужество и сказала:

— Я сама пойду в милицию и сознаюсь.

Басов как-то странно покривился.

— На нары захотела?

— На какие нары?

— Тюремные! — отрезал Басов.

Я представила себе эти тюремные нары, представила свою мягкую постель дома, постель с двумя пуховыми подушками в кружевных наволочках и теплым одеялом, и тихонько охнула. Нет, лучше я все расскажу маме, мы снимем деньги с книжки, продадим что-нибудь и расплатимся с кассой. И я подам заявление об уходе.

— У матери, когда узнает, поди инфаркт будет, — угрюмо сказал Басов, словно подслушав мои мысли. — В гроб ты ее сведешь. Совершенно свободно...

— В милиции должны разобраться, — возразила я не очень убежденно. — Вы же знаете, Пал Иванович, как было...

— Знаю. Однако, пока разберутся, мы с тобой полсрока успеем отсидеть. Ты за дело, а я, как соучастник... Вполне безвинно...

Я почувствовала себя страшно одинокой и заплакала.

— Опять ревешь? — сурово спросил Басов. — Слезами делу не поможешь! Придется нам с тобой маленько мозгами раскинуть — как быть...

— Как? — с надеждой вырвалось у меня.

— Подумаем, — пообещал Басов.

Однако он так и не поделился своими идеями. А в нашей палатке стало твориться что-то не очень понятное. Подкова приезжал почти ежедневно, и Басов сам возил-ся с накладными. На прилавке все чаще и чаще появлялись ходовые продукты — подсолнечное масло, свежая рыба, ветчина. И всегда в такое время, когда их не было в других палатках орса.

Разумеется, в самом этом факте ничего загадочно-го не было; странно было другое — далеко не все накладные, как я заметила, оказывались оприходованными в инвентаризационной книге. Да и сами накладные иногда исчезали бесследно после очередного приезда Подковы. Скоро дыры в нашем учете сделались такими, что на моем месте лишь слепой ничего бы не заметил.

Басов со мной почти не разговаривал и редко становился к прилавку. Но я все-таки спросила у него, что все это значит.

— Ничего хорошего за исключением плохого, — многозначительно сказал Басов. — Не маленькая, должна соображать...

— Если вы мне, Пал Иванович, не объясните, я пойду в милицию.

Басова прямо залихорадило.

— Ну и иди! — сказал он с надрывом. — Иди и доноси! Скажи, что честный человек Басов ради тебя, дуры, пошел на нарушение закона! Объясни начальнику, что ты сделала растрату, а я ее покрываю!

— И пойду! — закричала я и выбежала из палатки, хлопнув дверью.

Но добежала лишь до бульвара. Здесь я села на скамейку и, конечно, принялась реветь. Я считала себя самой несчастной девчонкой на земле... «Утоплюсь, — подумала я. — Или повешусь. Или под трамвай брошусь... И пусть все тогда узнают, как мне было плохо!».

На бульваре меня и нашел Басов. Он сел рядом, закурил и сказал печально:

— Такие, Зоя, дела...

— Я пойду в милицию...

— Пойдем, — согласился Басов и встал. — Пойдем вместе...

Басов знал меня лучше, чем я сама. Он играл наверняка. Как только он сказал: «Пойдем вместе», — я заревела чуть ли не в голос и осталась сидеть.

Басов дождался, пока я наплачусь вволю, сам вытер мне глаза своим платком и сказал еще печальнее:

— Думаешь, мне приятно? Эх, Зоя, да я бы сам ушел сейчас из этой проклятой палатки...

— Давайте уйдем! — попросила я.

— Легко сказать! Мы уйдем, а Сидор на нас материалы в прокуратуру передаст. И дадут нам с тобой «срок» за расхищение социалистического имущества.

Лицо у него было жалкое.

— Вот ты объяснений просила, — помолчав и попытив папиросой, сказал Басов. — Изволь. Товар нам сейчас привозят левый. Иногда. Скользкое дело! Однако ты не пугайся. Я все на себя беру. Ты ж сама видишь: и с накладными я, и с Подковой и прочее. Тебя это дело

не касается. Ты здесь совсем в стороне. Я делаю — мне и отвечать... Я тебе вот что предлагаю: потерпи немного, выплатим недостачу и вместе перейдем в другое место. Обязательно перейдем...

Он говорил очень долго, и постепенно кое-что в его словах показалось мне убедительным. Например, предложение выплатить долг и уйти. Оно мне не то что понравилось, но наметило хоть какой-то выход... Басов говорил, а я незаметно для себя стала кивать, соглашаться. Потом он взял меня за руку, и я, как овца, пошла с ним назад, в палатку. По дороге он дал мне честное слово, что через месяц, в крайнем случае, — через два, мы перейдем на новую работу.

**
*

...Прежняя жизнь осталась позади, резко отчеркнутая голосом участкового уполномоченного:

— Пойдемте, Миронова.

Следователя звали Маратом Михайловичем, а фамилия у него была совсем простая — Иванов. Пока я выкладывала ему все свои «я не виновата» и «я ничего не знаю», выпила несколько стаканов воды пополам со слезами, а потом с отчаянием брякнула, что «м-можете меня сажать», он не прерывал меня и был очень спокоен, будто с самого начала был уверен, что я стану вести себя именно так, а не как-нибудь иначе.

— Все? — спросил он и слегка улыбнулся, когда я более или менее успокоилась и замолчала. — Да, кстати, ты не обидишься, если я буду тебя называть Зоей?

— Нет...

— Договорились. Я тебя вот о чем попрошу: расскажи мне о себе, о работе в палатке и, — он добродушно засмеялся, — о том, как дошла ты до жизни такой. Не помнишь, чьи это стихи?

— Нет.

— И я забыл, — сказал он и вздохнул. — Думал, ты помнишь: у тебя, кажется, в школе по литературе были одни пятерки. Верно?

— Верно! — ответила я, пораженная тем, что ему это известно.

— Ну, ладно, — сказал он. — Хватит о поэзии...

Я рассказывала долго и страшно сбивчиво; прыгала с одного на другое, возвращалась к началу, путалась;

но Марат Михайлович все сидел в одной и той же позе (локти на столе, подбородок спрятан в кулаки) и молча слушал меня. Он ничего не записывал, не сверялся с бумагами, и вообще на его столе не было ничего, кроме пластмассового, закапанного чернилами прибора и такого же стаканчика с карандашами.

Я говорила, а за окном постепенно темнело.

— Зоя,— сказал Марат Михайлович.— Зажги, пожалуйста, свет. Выключатель там — около шкафа.

Я включила свет, а Марат Михайлович тем временем достал из ящика стола стопочку бланков. «Протокол допроса», — разобрала я надпись на верхнем, и сердце мое екнуло.

— Да-а,— протянул Марат Михайлович.— Прямо не знаю, как быть. Надо бы записать кое-что, но ты, наверное, устала и есть хочешь. Поздновато уже. Очень хочешь есть?

Как только он сказал о еде, я почувствовала, что страшно проголодалась. Волнения не убили моего аппетита, и я бы с удовольствием съела что-нибудь — на худой конец даже бутерброд с нелюбимой ливерной колбасой.

— Очень,— призналась я.

Марат Михайлович опять улыбнулся и встал. Хро-мая, пошел к шкафу. Его левая нога на ходу как-то странно скрипела, а я все смотрела на нее, пока не догадалась, что это не нога, а протез. Потом я впервые заметила, что виски у него седые, а на лбу много длинных, глубоких морщин.

Марат Михайлович взял из шкафа маленький сверток в газетной бумаге и вернулся к столу.

— Зоя,— сказал он,— ты пока отдохни и поешь...

И протянул мне сверток. Я развернула его. Там были бутерброды с плавленым сыром.

— Ты как — любишь сыр? — спросил Марат Михайлович.

— Люблю,— нерешительно сказала я; бутерброды были такие аппетитные!

— Чаю, к сожалению, нет...

Я съела все его бутерброды, и лишь тогда мне пришлось в голову, что это был ужин Марата Михайловича, а может быть, и обед. И мне стало совестно, — как всегда, с опозданием...

Марат Михайлович взял ручку, и сердце мое опять заняло; пока мы говорили вроде бы просто так, я успокоилась, но сейчас снова вернулась к действительности, и Марат Михайлович уже не казался мне таким добродушным. Он поскреб пальцем висок и сказал:

— Постарайся вспомнить все. И поподробнее.

— Расплата за ваши бутерброды? — неловко пошутила я. — Вы что же — всем их даете?

Глаза Марата Михайловича стали чужими и холодными.

— Нет, — сказал он. — Бутерброды я даю не всем! Вчера на этом стуле сидел бандит. Настоящий бандит. Ему я бутербродов не предлагал... А тебе советую запомнить: я здесь делаю дело, порученное мне, и делаю его не с помощью бутербродов! Допрос есть допрос. Я должен знать, виновата ли ты, и если виновата, то в какой степени. Кстати, разъясняю тебе еще одно: ты имеешь право вообще не давать показаний. Закон разрешает тебе это, и ты, если хочешь, можешь отказаться отвечать. Я зафиксирую твой отказ в протоколе...

— Нет, — сказала я.

— Что — нет?

— Простите... Я буду отвечать... Сама не знаю, как у меня вышло...

На улице было уже совсем темно, когда Марат Михайлович дописал последнюю строчку протокола и я расписалась в нужных местах.

— На сегодня все, Зоя, — сказал Марат Михайлович и левой рукой размял пальцы правой. — Я знаю, ты ждешь, что я тебе скажу: можешь идти домой. Но я тебя огорчу: домой ты не пойдешь...

«Вот оно, — подумала я. — Вот оно — самое страшное». И ноги мои стали ватными, а все то, что говорил Марат Михайлович, доносилось до меня как бы через стенку.

— Я мог бы не объяснять, почему я задерживаю тебя, — продолжал он. — Но тебе я объясню... Там, — Марат Михайлович показал за окно, — остались субъекты, место которых здесь, — он указал на мой стул. — И встречаться тебе с ними нельзя. Даже небезопасно, если хочешь знать. Поверь, в камере тебе будет в некотором роде спокойнее... И еще вот что я тебе скажу. Ты сама понимаешь, что камера — не санаторий. И все-таки

духом падать не нужно. Мой тебе совет: поменьше слушай камерных адвокатов — там есть такие, — лучше побольше читай. Книжки тебе будут давать.

— Неправда! — крикнула я с отчаянием.

— Правда, — сказал Марат Михайлович. — Кроме того, я сегодня поеду к твоей маме и попрошу ее передать для тебя деньги. Я их сдам в канцелярию, и ты будешь покупать себе нужные продукты. Договорились?.. — Он в нерешительности почесал висок и вдруг добавил: — Так и быть, была не была! Напиши маме записку, только коротенькую. Я передам...

**
*

Я виделась с этим спокойным и веселым человеком всего шесть или семь раз. И всегда он представлялся мне иным, не таким, как раньше. Я обнаружила, что он вовсе не так хладнокровен и выдержан, как это могло показаться с первого взгляда. Был случай, когда он сказал мне с откровенной досадой и неприязнью:

— Не понимаю... Не понимаю тебя, Зоя. Все у тебя нормально — семья, школа, комсомол. Отец — коммунист. А ты, прости меня, размазня какая-то!.. Нет, не хотел бы я с тобой на фронте быть в одном окопе. Не хотел бы!

Это произошло, когда я рассказала ему о своем разговоре с Панькиным.

— Мы вот часто говорим: семья, школа, воспитание, — продолжал Марат Михайлович. — Но давай разберемся: кто же тебя плохо воспитал? Семья? Нет, семья у тебя неплохая. Школа? Опять-таки нет — тебя учили правильным и нужным вещам...

Он говорил как бы сам с собой.

— Трусость? Но трусость — качество не врожденное... В протокол не запишешь: Зоя Миронова связалась с преступниками, потому что струсилась. Это только факт, а не его объяснение. И не в том твоя вина, что ты по незнанию подписала фальшивые накладные, и даже не в том, что клала расписки в кассу — верю, что ты делала это по неопытности. Но вот когда Басов при тебе стал откровенно воровать, — скажи мне, почему ты тогда не пришла, не прибежала к нам в прокуратуру?

— Н-не знаю...— сказала я.

— Приходили тут ко мне по твоему делу люди. Очень разные люди. Рабочие приходили, подруги. Так вот, одна девушка сказала: «Зоя — человек хороший, но немного мещанка». Ты не обижайся... Ты подумай: может, она права, а?

Мещанка? О мещанах часто писали в газетах. Это были люди, покупавшие рыночные картинки с целующимися голубями и мраморных слоников, которые якобы приносят счастье. У нас дома не было ни слоников, ни картинок с голубями... Что же имеет в виду Марат Михайлович?.. И кто сказал ему, что я — мещанка? Наверное, Ленка...

— Я тебе кое-что напому, — продолжал Марат Михайлович. — Ты хотела пойти на завод, но твоя мама начала сокрушаться и говорить тебе, что интеллигентной девушке не место у станка. Было это? Было. Пойдем дальше. Своим подругам ты сказала, будто жалеешь, что не пошла на завод. Теперь суди сама, что выходит. С одной стороны, ты стремишься в цех, а с другой — сдаешься при первом же намеке на препятствие. Мещанство? На первый взгляд, пожалуй, нет. А по сути — да! Мещанин потому и называется мещанином, что он не борется, а приспосабливается. Заметь, Зоя, мещанин не выступает, к примеру, в открытую против чего-нибудь; он сутяжничает. Не осуждает, а сплетничает... Мещанин, Зоя, — грус...

Мне иногда делалось не по себе от того, что Марат Михайлович так много знает обо мне. И о склонности к литературе, и о том, что я терпеть не могла Подкову, и даже о бидончике меда, подаренном Иваном Ивановичем. Знал он и о неуплаченных взносах, и о Леве, и еще ворох таких подробностей, которые я и сама давным-давно позабыла.

Случалось, что он подолгу говорил со мной на самые отвлеченные темы, а своим протоколам уделял минут сорок, а то и меньше.

После первого же допроса Марат Михайлович перестал интересоваться моей поездкой с Подковой, историей с колбасой и другими, на мой взгляд, очень важными вещами, зато он с неожиданной дотошностью буквально выпытывал у меня подробности о старых ценниках, которые я хотела переписать; заставил вспомнить, когда

это было, каким я писала карандашом и какие ценники успела обвести вторично.

Об этом же он спросил меня на очной ставке с Басовым.

— Басов,— сказал он,— подтверждаете ли вы тот факт, что Миронова в вашем присутствии обводила ценники?

— Нет! — ответил Басов и пошмыгал носом.

Он был все такой же — аккуратный, выбритый, полный. Только остриженные волосы меняли его внешность. И говорил он так же, как и раньше, убежденным тоном честного человека. Мне он сказал тихим, добрым голосом: «Здравствуй, Зоя».

— Миронова,— обратился ко мне Марат Михайлович.— Присутствовал ли Басов при том, как вы подправляли ценники?

— Да,— сказала я.— Он мне запретил это делать.

— Врет! — почти крикнул Басов.

— Тихо! — сказал Марат Михайлович таким тоном, что у Басова вытянулось лицо.

Марат Михайлович повернулся ко мне:

— Так как же, Миронова, присутствовал Басов или нет?

— Присутствовал.

Эти ценники, о которых я рассказала Марату Михайловичу, оказались в деле; они были вложены в отдельный конверт и пронумерованы. И они сыграли свою роль...

Очная ставка длилась долго. Басов на все вопросы отвечал коротко: «Нет», «Не знаю», «Не присутствовал». Но, как ни странно, Марат Михайлович выглядел очень довольным. Ему как будто нравилось, что Басов все так решительно отрицает.

— Отлично! — сказал он, услышав от Басова, что я не привозила ему домой накладные на колбасу.— Значит, не привозила?.. Подпишитесь, Басов.

Басов подписался, а Марат Михайлович весело поскреб висок.

— Обидно,— сказал он.— Обидно, Басов, что у вас такая скверная память. И как это вы забыли, что положили эти накладные в папку, где держали настоящие накладные, вместо которых в палатке приходовали фальшивки, выписанные Подковой. Я бы на вашем ме-

сте, Басов, помнил, что папка эта хранилась у вас дома... Так-то, Басов... Нет, нет, не возражайте. Сразу умно не соворете и только напортите себе. Посидите в камере, подумайте, а в следующий раз поделитесь со мной вашими идеями. И на всякий случай имейте в виду, что по поводу места хранения накладных вам еще предстоит объясняться с Подковой. У него, знаете, память лучше вашей. И насчет того, что Миронова должна была отвезти вам накладные, он весьма толково рассказал. Ведь вы приказали ему передать Мироновой, чтобы она вам позвонила?..

И он снова, улыбаясь, почесал висок. Как я успела подметить, это значило, что он в хорошем настроении.

Но иногда настроение у Марата Михайловича было скверное. В такие дни он не шутил, был сух и озабочен. И мне тогда особенно не хотелось возвращаться в камеру, где было душно и по ночам горел мешающий спать свет...

**
*

Ночь... И зачем они вообще существуют, ночи? Они — нескончаемо длинные, освещенные негаснущей лампой, взбудораженные храпом и скрипением двухъярусных коек.

В эти ночные бессонные часы я мысленно разговаривала с мамой. В первые дни я все оправдывалась, пыталась объяснить ей, как все произошло, но сейчас я не в состоянии оправдывать себя и подыскивать новые объяснения. Марат Михайлович камня на камне не оставил от них. Нет, он не читал мне нотаций, не лез, что называется, в душу с нравоучениями. Он говорил со мной о другом: о моих школьных друзьях и подругах, о любимых литературных героях и просто о жизни.

После таких разговоров было нелегко переходить к накладным, колбасе, фактурам и отвесам. Марат Михайлович, понимая это, не торопил меня, даже если я долго молчала, вспоминая нужные ему подробности.

Мне было спокойно с ним. И когда он сказал:

— Завтра, Зоя, мы увидимся в последний раз, — когда он сказал это, я спросила с отчаянием, удивившим меня самое:

— Уже?

— Да,— сказал Марат Михайлович.— Я тебе, очевидно, сильно надоел за эти дни, но ничего не поделаешь...

— Что же будет?

— Будет суд, Зоя. Там ты расскажешь все, что рассказала мне.

И прежний страх охватил меня. Хотя Марат Михайлович и советовал не слушать камерных «адвокатов», но совет его пропал даром. Я слушала всех, кого могла. Одна женщина, Люся, узнав мою историю, презрительно усмехнулась и похлопала меня по плечу.

— Сопля ты! — сказала она.— Кому ты поверила? Следователю? Из-за таких вот, как ты, и садятся люди. Он тебе конфетку показал, и ты ему, как на блюдечке, все поднесла. Угробила людей и себя угробила!

Да и другие женщины — Маша и Нюся (я так и не узнала, за что их всех арестовали) — удивлялись моей доверчивости:

— Милая моя, — охала Маша, — да как же ты ему всю правду говоришь? Засудят тебя, как бог свят, засудят. И мамочку родную помянуть не успеешь, Зоенька...

А Нюся сказала веско и не очень понятно:

— Она свою дурость в обвинилке прочтет.

Словом, Нюся, Маша и Люся ничего хорошего мне не предрекали. Они считали, что Марат Михайлович ловкач, а я дура, и что все мои признания будут записаны в обвинительном заключении, и что в суде мне лучше всего начисто отказаться от своих показаний.

И я спросила у Марата Михайловича:

— Когда я получу обвинилку?

Он посмотрел мне в глаза.

— Научилась?

— Да! — сказала я с вызовом.

— Хвалю, — усмехнулся Марат Михайлович, — ты делаешь успехи.

Я ожидала, что он будет ругать меня, но он помолчал, взял папиросу и, разминая ее пальцами, заговорил спокойно, даже мягко:

— Ты вот любишь литературу, а употребляешь слово «обвинилка». Дрянное, жаргонное словечко. Стоит ли им пользоваться? Стоит ли забивать себе голову выражениями из блатного словаря? Конечно, я могу поговорить с тобой и на таком языке. Однако есть ли резон?

— Наверно, нет,— сказала я.— Только все зыки так говорят.

— Зыки — заключенные,— словно для себя перевел Марат Михайлович.— И это ты знаешь... Но я тебя разочарую: ты — не заключенная. Для меня, для закона, который я здесь представляю, пока ты — обвиняемая. И только. И судьба твоя, Зоя, вовсе не безразлична мне... Ну, да это ты позже поймешь. А сейчас поговорим о словах. Прежде всего заметь: слова-паразиты удивительно въедливы, словно нарочно застревают в памяти. И вот представь себе: возвратишься ты домой, встретишь молодого человека, он тебе понравится, и вдруг ты в разговоре употребишь что-нибудь подобное. Красиво?

— Вы скажете!

— А что, думаешь, не может этого случиться? Э-э, не зарекайся, Зоя! Знаешь, со мной было нечто похожее. Когда я лежал в госпитале... Отняли мне ногу, а она болит и болит. Хоть плачь! И нашел я средство: выругаюсь про себя покрепче — вроде сразу легче. Ну и при-
вык... А потом гулял я со своей будущей женой, и

— Выругались?!

— К счастью, нет. Успел спохватиться. Еле-еле успел! — Он засмеялся.— Пришлось отвыкать...

Ночью мне вспомнился наш разговор. «Честное слово, Зойка,— сказала я себе.— Насчет словечек он прав... Но что будет со мной?». Мысли, одна тяжелее другой, приходили мне в голову, и я заснула лишь под самое утро.

Часов около десяти раздался голос надзирательницы:

— Миронова, с вещами!

Дрожащими руками я стала собирать свои вещи, а Маша — тут как тут — запричитала над ухом:

— Дострадалася, Зоенька, дострадалася. Значитца, переедешь к расследованным. Ить говорила я тебе, ить говорила...

Под эти причитания я пошла к двери, забыв попрощаться. Но меня не перевели в другую камеру. Следом за надзирательницей я прошла по лестницам, спустилась вниз и была передана двум милиционерам, которые провели меня к темно-серому автобусу, точь-в-точь такому же, на каком я приехала сюда. «Как? — с испугом подумала я.— Уже в колонию? А суд?..»

Но меня привезли не в колонию, а в прокуратуру. В тот самый кабинет, где мы впервые встретились с Маратом Михайловичем. Оказывается, это он меня вызвал.

— Здравствуй, Зоя,— сказал он, как ни в чем не бывало.— Держу слово: беседуем в последний раз... Ты вещи свои положи. Садись.

Он был немножко возбужден, но в хорошем настроении: скреб пальцем висок.

— Следствие окончено,— сообщил он.— Теперь я обязан ознакомить тебя с делом. Вот оно.

На столе лежали три толстых тома.

— У-у! — только и могла сказать я.

— Когда ты все это прочтешь, то можешь дополнительно дать любые показания — устно или сама напишешь... Не пугайся, Зоя! Читай. За литературный стиль не отвечаю, но содержание как будто качественное. Ближе познакомишься со своими коллегами по палатке и орсу.

Все читать я не стала. Те места, что касались меня, Марат Михайлович отметил закладками.

Да, это была грустная литература! Чего только Подкова, Басов и особенно Панькин не наговорили!.. И что я с самого начала участвовала в их махинациях, и что я взятку Панькину предлагала, и что похищала деньги из кассы...

— Прочла? — спросил Марат Михайлович, когда я закрыла третий том.— Не горюй, в суде ты от них еще не такое услышишь. А теперь подпиши протокол об ознакомлении с делом.

Я подписала. Марат Михайлович придвинул мне еще какую-то бумагу.

— И эту, Зоя.

— Это что? — спросила я.

— Сейчас ты пойдешь домой...

— Да? — сказала я и заревела.

— Ну и ну,— улыбнулся Марат Михайлович.— Куда это годится? Невеста, можно сказать... Но и я хорош! Преподнес вдруг сюрприз!..

— Марат Михайлович... — всхлипнула я.

— Иди, Зоя. Иди... Держать тебя до суда в камере нет надобности. Иди домой.

Он потянул меня за руку со стула, с трудом нагнувшись, поднял с пола мой узелок.

— Бери и иди. Там, внизу, тебя мама ждет.

Как во сне, я дошла до двери, чувствуя на своем плече его большую теплую руку.

**
**

И вот я дома. Вместо больших и умных разговоров я вела с мамой один-единственный прерывистый разговор, в котором или не было смысла, или было его слишком много. Мы пили чай и говорили о соседях, о Ленке, Гале и Свете, даже о Сережке Минаеве.

Так мы болтали, словно уговорившись избегать упоминаний о том, что еще не успело стать прошлым, пока кто-то не позвонил в квартиру. Я побежала открывать. Это была, конечно, Ленка.

Мама неожиданно вспомнила, что ей надо куда-то сходить по важному делу, сказала, что придет нескоро и ушла, оставив нас вдвоем.

Едва за мамой захлопнулась дверь, как Ленка с размаху шлепнула меня по спине и вдруг чинно уселась на краешек стула, сложив руки на коленях.

— Рассказывай!

— Что?

— Все! — непреклонно сказала Ленка.

— Ты была у Марата Михайловича? — спросила я.

— Была.

— Он тебя вызывал?

Ленка с удивлением посмотрела на меня.

— Ты что? Стала бы я дожидаться!.. Да и не одна я была: и Галка, и Светка, и Сережка — все!

Да, Ленка осталась Ленкой! Сомневаться в этом не приходилось; достаточно было послушать, как она ругала меня, называла и манной кашей, и эгоисткой, и всякими другими обидными прозвищами.

— Да я бы их! — горячилась Ленка. — Попробовали бы они так со мной!.. Кстати, скажи мне, что это за старик к следователю ходил? Такой высокий, с усами?

— Не знаю, — сказала я.

Как раз в этот момент позвонили, Ленка побежала открывать дверь и вошла в комнату вместе с Иваном

Ивановичем. Ленка локтем незаметно пихнула меня в бок и покраснела.

— Садитесь,— сказала я и смутилась, потому что Иван Иванович только сурово мотнул головой в ответ и спросил:

— Мамаша дома?

— Я пойду,— сказала Ленка и покосилась на Ивана Ивановича.— Между прочим, в райкоме сказали, чтобы ты зашла к товарищу Павлову. Он теперь вместо Левы...

Ленка преувеличенно бодро потрясла мою руку и с гордо поднятой головой прошла мимо Ивана Ивановича. За его спиной она обернулась, сделала страшные глаза и, привстав на цыпочки, ткнула указательным пальцем чуть ли не ему в спину. По ее губам я прочла: «Это тот самый».

Дверь закрылась, и мы остались с Иваном Ивановичем наедине.

— Вы к маме?.. Садитесь, пожалуйста,— повторила я приглашение.

— И то! — сказал Иван Иванович и сел.

Потом он расстегнул пальто, достал очки, подышал на них, протер обстоятельно платком и, посмотрев через одно стекло на свет, водрузил их на переносицу. Стекла блестели довольно зловеще.

— Самочувствие как? — спросил Иван Иванович после паузы.

— Спасибо...

— Да я не о твоём,— сказал Иван Иванович.— Твое самочувствие я самолично вижу. Как мамашино самочувствие?

— Спасибо, ничего.

— Ничего,— сварливо повторил Иван Иванович.— Чуть мать в гроб не загнала, а все то же — ничего. Мало вас, молодых, пороли...

Я промолчала и подумала, что Иван Иванович, видно, пришел неспроста. Так оно и оказалось.

— Как жить думаешь? — спросил Иван Иванович.

— Жить?.. Не знаю... Как все.

— Все по-разному живут!

— Ну, как люди...

— И люди разные бывают,— сказал Иван Иванович.

Я никак не могла понять: что он от меня хочет? За-

чем пришел, зачем сидит здесь и донимает меня странными вопросами? Что я могу ему ответить, если и сама не знаю, как сложится моя жизнь? О каком будущем говорить, если меня ждет суд? Иван Иванович будто прочел мои мысли.

— Боишься планы планировать? — насмешливо спросил он.

— Боюсь! — призналась я.

— Правильно, — сказал Иван Иванович. — Спрос с тебя будет строгий, по всем статьям, сполна. А то как же? На заводе, например, как брак, так всем сестрам по серьгам дают. Кому выговор, кому посерьезней что. Так то — за деталь. А тут налицо в самой жизни брак.

— Неужели посадят? — вырвалось у меня.

— Посадят? — переспросил Иван Иванович. — Может, и посадят... А сейчас — пойдём...

— Куда?

— К народу, — сказал Иван Иванович.

**
*

Наш орс помещался в бывшем ремонтном цехе.

Иван Иванович провел меня в самый дальний конец помещения; мы поднялись по железной лестнице и очутились в коридоре. По обе стороны коридора были двери с бумажными табличками. Иван Иванович открыл одну дверь и подтолкнул меня в спину.

— Входи!

Я вошла. Большая комната была полна людей. Они сидели на стульях, скамьях, подоконнике. И все смотрели в мою сторону.

— Вот, — сказал Иван Иванович. — Привет!

— Здравствуйте, — застыла я на пороге, не зная куда девать руки.

Кто-то присвистнул. Кто-то сказал: «Привет!» Кто-то засмеялся. Кто-то произнес громко и недовольно: «Долго же ты ее уговаривал!»

— Как умел, — сердито сказал Иван Иванович и помахивал меня пальцем. — Проходи к столу. Разговор будет.

Он мог бы этого и не говорить. И так было видно, что предстоит разговор и, судя по всему, неприятный.

Иван Иванович сел за стол рядом с чубатым паренком, точившим карандаш. Перед ним лежала стопочка бумаги. Я поняла, что паренек будет вести протокол.

— Начнем? — спросил Иван Иванович.

— Давай... Пора... Время-то идет! — ответили ему из рядов.

— Рассказывай, Зоя! — сказал Иван Иванович.

— Что? — спросила я, стараясь спрятать глаза от направленных на меня взглядов.

— О планах своих. Жизнеописание можешь не говорить — все и так знают. Говори, что думаешь делать.

Я подняла глаза и увидела лица людей. Их было много. Я сразу заметила Галю, Свету и Серёжку. Они сидели рядом. Все — молодые и пожилые, знакомые и незнакомые — глядели на меня с интересом. Чубатый парнишка оторвался от своих бумаг и сказал:

— Ну, девушка, рассказывайте, не стесняйтесь.

И я заговорила. Никогда еще не была я такой косноязычной и глупой. Никогда еще мне так отчаянно не хотелось заплакать. У меня щипало глаза, но я заставляла себя говорить.

— Я ничего не украла... Клянусь вам папиной памятью. Я не могла украсть... Спросите всех, кто меня знает!.. Просто я очень струсилась. И меня, наверное, посадят за это...

Я рассказала им о Басове, Подкове, о растрате. Начала говорить о Панькине, но тут поднялся пожилой мужчина в ватнике и сказал:

— Это мы знаем. Ты нам суть скажи: можно тебе верить?

Чубатый паренек засмеялся.

— Вот так суть! Это мы сами решить должны, а вы, дядя Толя, ей решать предлагаете.

— Пусть ответит! — сказал дядя Толя и сел.

— Отвечай, — произнес Иван Иванович.

— Товарищи, — сказала я, — если можете — поверьте!..

Дядя Толя снова встал.

— Экие вы все, я вижу, добренькие. Как в кино. Поручи там всякие, общественные защитники. Только смотря кого защищать. Ты, Иван Иванович, нам вчера все на ее неопытность жал. Да и молодежь за нее заступалась. А вы подумали, чьи она деньги, прости господи, сперла? Рабочие деньги!..

Он говорил, и слова его как будто били меня по лицу. От них ничем нельзя было закрыться.

— Все сказал? — спросил Иван Иванович. — Садись, если все. Объясни народу, Зоя, что здесь правда, а что нет.

— Все неправда! Мне даже следователь поверил... — начала я.

Чубатый присвистнул.

— Нашла на кого сослаться!

— А на кого же? — крикнула я, приходя в отчаяние от этого непонимания. — Я же не крала... И взвешивала честно.

— Верно! — сказал кто-то басом, и я обрадовалась.

— Вот видите, люди же знают...

— Можно, я скажу? — спросил чубатый и встал. — Не все, товарищи, так просто. Крала, не крала — суд разберется. О другом речь. Можно ей верить или нет? Я вот думаю, что нельзя!

— Это почему? — спросил Иван Иванович.

— Объясню. Вы, Иван Иванович, авторитетом не давите... Я ей потому не верю, что у меня вообще к белоручкам недоверие!

— Молодец, — усмехнулся Иван Иванович. — Скажи, какой революционер с подпольным стажем! Прямо кадровый рабочий! Может, тут еще есть такие, кто так думает?

— Можно я скажу? — поднялся со своего места Сережка.

— Скажи, скажи! — подталкивали его Галя и Света.

— Пусть скажет! — зашумели кругом.

— Мы вот, — начал Сережка и обвел рукой вокруг себя, — знаем Зою Миронову, можно сказать, с самого детства...

— Ты конкретней! — сказал Иван Иванович.

— Так вот я хочу сказать, — повысил голос Сережка, — что Зою Миронову мы, ребята и девочки, знаем хорошо и считаем, что она — не преступница. Просто запуталась она... И ее запутали. Мы считаем, что ей верить можно и нужно! Вот и все... — он сел на место.

В комнате зашумели.

— Правильно!

— Все ясно!

— Поддерживаем!

— Кто еще хочет сказать? — спросил Иван Иванович.

— Разрешите? — сказал кто-то в углу.

— Слово имеет инструктор райкома комсомола товарищ Павлов, — объявил Иван Иванович.

К столу протиснулся высокий парень в сером пальто.

— Два слова, — сказал он. — Вчера Иван Иванович и другие товарищи убеждали коллектив просить суд отдать Миронову на перевоспитание. Если вас интересует мое мнение, то коротко оно таково: Миронова человек не конченный. За нее бороться надо. Чтоб она правильным путем пошла. Помогать человеку надо, когда человек в беде... Вот так, товарищи...

— Так, — сказал Иван Иванович. — Есть предложение: избрать общественного защитника и просить суд передать Зою нам на перевоспитание. Кто за это предложение?

Я посмотрела на ряды. Руки подняли две девушки и... дядя Толя. Потом — Иван Иванович, Галя, Света и Сережа. Потом... Можно было не считать.

— Большинство! — сказал Иван Иванович.

**
*

В суд я надела свое лучшее платье — голубое, в котором когда-то танцевала на выпускном школьном вечере. Платье пахло нафталином и чуточку духами, и было, наверное, совсем не к месту и не ко времени, но я все-таки надела его. Мой обычный костюм из толстого неизносимого сукна был черного цвета, и я боялась, что люди подумают, будто я нарочно приняла какой-то похоронный вид и стараюсь разжалобить судью и народных заседателей.

Судью, Анну Ивановну Штатову, я уже знала. Она была небольшого роста, серьезная, и над губой у нее росли маленькие усики. Когда Штатова надевала очки, то выглядела очень официально. И вдобавок она говорила басом. Я ее боялась.

В первый день я пришла раньше всех. В зале заседания было еще пусто. Потом вошла какая-то девушка, с недоумением посмотрела на мое голубое платье и спросила, не я ли Миронова.

— Давайте повестку, — сказала девушка.

Я отдала ей повестку, и она ушла в соседнюю комнату, дверь которой выходила в зал заседания.

Маму я просила в суд не приходить, но она все-таки пришла и села в самом заднем ряду. Появилась Ленка, подседа к маме и, хмуря брови, кивнула мне: мол, держись, Зоя.

В зале было неуютно и холодновато. Пришли две какие-то женщины. За неплотно закрытой дверью звучали голоса. Я сидела, не зная, что делать, пока снова не вышла та самая девушка и не сказала мне, чтобы я села за барьерчик. Там стояла скамейка. «Скамья подсудимых», — догадалась я, и по спине у меня поползли мурашки.

Стараясь не смотреть на женщин, которые вдруг насторожились и принялись разглядывать меня, я прошла за барьерчик и стала следить за девушкой. Она села за маленький столик в углу, разложила перед собой какие-то бумаги, почистила перо спичкой и, отложив ручку, взялась за толстую книгу. Книга, наверное, была очень интересная, потому что девушка так увлеклась, что не подняла головы даже тогда, когда милиционеры ввели Панькина, Подкову и Басова.

— Здравствуй, Зоя, — сказал Басов печальным голосом.

Мне не хотелось ему отвечать, и я отодвинулась на самый краешек скамьи.

— А-а, — протянул Басов еще печальнее. — Стыдишься нас, стало быть? Так я и думал. Грешили вместе, а теперь стыдишься своих...

Очень хотелось ответить ему, что я вовсе не «своя», но я не успела: раскрылась дверь соседней комнаты, и девушка-секретарь, быстренько отложив роман, сказала официальным голосом:

— Встать! Суд идет!

Мы встали. В зале уже было много народу, и все смотрели в нашу сторону. Поэтому я обрадовалась, когда судья сказала своим басом: «Садитесь!» Я устроилась так, чтобы меня не было видно за Басовым и остальной компанией. В ту минуту единственное, о чем я мечтала, это стать невидимкой. Но у меня не было волшебной шапочки.

Минут через пять, не раньше, осмелилась я оторвать глаза от пола и увидела, что напротив меня сидит Иван Иванович, которого на собрании в орсе выбрали общественным защитником. Его сразу можно было отличить

от адвокатов. Те были гладко выбритые, с уверенными манерами, в модных костюмах, а он со своими усами, сутулый, в дорогой, но несовременной бастоновой паре, казался каким-то невнушительным.

Иван Иванович даже не кивнул мне. Очки на его носу сверкали грозно, и я снова почувствовала себя совсем-совсем одинокой.

Я так волновалась, что почти не слышала ответов Басова и остальных на первые вопросы судьи. Потом Штатова назвала мою фамилию, и я, в свою очередь, стала отвечать ей.

Вообще впечатления от первого дня суда смешались в моей голове в какую-то кашу. Помню, что, громко стуча каблуками, вышли в коридор свидетели; что Штатова монотонным басом, покашливая, читала обвинительное заключение; что по нескольку слов сказали адвокаты и прокурор; потом встал Подкова и с полчаса нудно бубнил у меня над ухом о базе, фактурах и накладных.

— Садитесь, — сказала Штатова. — Миронова! Расскажите суду, и как можно подробнее, что вам известно по настоящему делу.

Я стала рассказывать все, что знала. О винограде, колбасе, ценниках, деньгах, взятых под расписку из кассы, о поездке с Подковой. Раньше я думала, что на этот рассказ уйдет несколько часов, а оказалось, что уже минут через пятнадцать я все выложила и начала повторяться.

— Погодите, — остановила меня Штатова. — Вернемся к эпизоду с поездкой. Где и когда вы расстались с Подковой, и что он вам при этом сказал?

— На окраине. Он вернул мне накладные и попросил передать Басову привет.

— Так. Подсудимый Подкова, Миронова правильно показывает? Встаньте.

— Нет, — ответил Подкова.

— А как было дело?

— Исключительно просто, — затараторил он, — приехала она ко мне с поручением Басова забрать сахар и помочь ей его вывезти. Я, само собой, пособил — почему не пособить? Вывезли мы его, значит, с базы, поехали к палатке, и тут она, Миронова, значит, постучала в кабину и говорит: ты, мол, сам доведи груз в па-

латку и сдай Басову, а мне, говорит, некогда. Ну, мое дело маленькое, я и отвез. А, значит, накладных я, граждане судьи, ей никаких не возвращал — они у нее и были. Мое дело — стороннее. Мне — что? Я не интересуюсь, какая у них там с Басовым договоренность...

Я слушала и ушам не верила. Ну как же можно так обманывать? Ведь все было совсем не так!

— Зачем вы врете?! — не выдержала я.

— Миронова! — строго посмотрела на меня Штатова и постучала по столу. — Я не давала вам слова. Продолжайте, Подкова.

— Чего там, — снова начал тот. — Абсолютно нахальная ложь с ее стороны. Путают меня. Я и на следствии честно высказывался. А она валит все на меня, потому как...

— Садитесь, — сказала Штатова. — Ну, Миронова, где же правда?

Что я могла ответить? Подкова врал очень спокойно и уверенно, а я не знала, как доказать, что говорю правду.

— Ну-с? — выжидающе посмотрела на меня Штатова.

— Я не обманываю, — сказала я и подумала: «Скорей бы все кончилось!».

Но до конца было далеко. После Штатовой за меня взялись прокурор и адвокаты. Прокурора почему-то больше всего интересовало, какого числа заболела мама и когда она выздоровела, приходилось ли мне до истории с колбасой оформлять накладные и какого числа вызывал меня Панькин. Спрашивал он коротко, и после каждого моего ответа кивал крупной головой с шапкой курчавых волос. Адвокаты тоже выпытывали у меня всякие подробности, большую часть которых я не помнила. Особенно въедлив был узколицый старичок с доброй улыбкой.

— Не припомните ли, — спрашивал он, — получали ли вы денежные суммы непосредственно от Басова?

— Нет, — ответила я. — Не получала.

— Прошу занести в протокол! — сказал старичок и улыбнулся мне еще добрее. — А не припомните ли вы, как вели себя Басов и Панькин во время ревизии?

— Они ругались.

— Из-за чего?

— Из-за акта.

— У меня больше нет вопросов,— торжественным тоном сказал старичок, послав мне на прощанье самую что ни на есть добрую улыбку.

— Подсудимый Басов,— сказала Штатова.

Басов поднялся. Наголо остриженная голова делала его моложе. Держался он по-прежнему с достоинством и, говоря, изредка заглядывал в листочек бумаги, который положил перед собой на перила барьера.

Пока Басов говорил о каких-то финансовых и торговых тонкостях, я не слишком хорошо его понимала. Названия, которые он употреблял, были мне почти незнакомы: всякие там дебет, кредит, сальдо, транзиты... Поняла я лишь одно: Басов в чем-то уличал Подкову и Панькина. А потом он стал уличать... меня. И я узнала о себе, какая я плохая, как я втравила Басова во всевозможные махинации, как, воспользовавшись его доверчивостью, брала деньги из кассы, как за спиной Басова вошла в сговор с Панькиным и Подковой, и тому подобное. Басов очень жалел, что нет свидетелей, которые подтвердили бы его искренность.

Словом, половины того, что сказал обо мне Басов, хватило бы, чтобы осудить меня к самому большому наказанию. Я бы, наверное, не выдержала и сказала ему все, что в тот момент думала о нем, если бы случайно не поймала взгляда Ивана Ивановича. Он посмотрел на меня в упор и приложил палец к усам. «Молчи!» — поняла я.

— Кстати,— сказал Басов,— Миронова, если у нее совесть хоть немного сохранилась, должна будет признать, что я не раз предупреждал ее, какими честными должны быть мы, работники торговли. Я не раз предупреждал ее на примерах из практики жизни...

Говоря, он повернулся ко мне, и голос его стал про-
никновенным.

— Подтверди же, Зоя: ведь были такие разговоры? Ну, по совести?

— Были,— сказала я.

Все они — и Басов, и Панькин, и Подкова — зывали к моей совести. Слушая их, я перестала что-либо понимать. В нашем деле не оказывалось ни одного виноват

того, кроме меня. До моего появления ни в палатке, ни на базе, ни в орсе не бывало нарушений. Хищения начались с моим приходом. И во всех преступлениях я была, так или иначе, замешана. По крайней мере, так выходило, если верить Басову и остальным.

Я старалась представить себе, что думают обо мне Штатова и заседатели, искала на их лицах или в словах хоть какие-нибудь отголоски чувств — удивления, негодования, презрения на худой конец. Напрасно. Штатова была вежлива и только.

И опять о чем-то коротко говорили прокурор и адвокаты. И опять у меня сжималось сердце.

К вечеру дошла очередь до Панькина. Он долго разглагольствовал о своих заслугах и всячески оправдывался.

— Объяснительную, — сказал Панькин, — я у Мироновой обязан был взять, чтобы...

— Шантажировать? — вдруг спросил Иван Иванович.

— Тише, — сказала Штатова. — Не перебивайте подсудимого.

Голос у нее был строгий, но, честное слово, я могла бы идти на спор, что она впервые в этот день усмехнулась. И Панькин это заметил. По крайней мере, он сразу же сбавил тон...

**
*

Постепенно я начала кое в чем разбираться. Штатова больше не казалась мне холодной и злой. Может быть, она даже была доброй — не знаю. В суде она вела себя просто нейтрально.

Судебное заседание было похоже на корабль, а Штатова — на лоцмана. Корабль шел в густом тумане цифр, лжи и мудреных бухгалтерских терминов. Если проводить сравнения дальше, то Басов с Панькиным и Подковой были пассажирами. Но вели они себя вразрез со всеми законами моря. Когда то один, то другой летели за борт, смытые волной доказательств, остальные не бросали тонущему спасательных кругов, а начинали суетиться и рвать эти самые круги друг у друга. И старательно топили четвертого пассажира — меня.

А корабль, под слезливое пошмыгивание толстой жены Басова и молодящейся супруги Панькина, шел дальше. Его вели уверенно.

Штатова обладала завидной способностью одной короткой командой изменять курс.

Вот Басов сказал:

— Что же касается ревизии, то Панькин правильно вскрыл наши упущения, потому как Миронова на самом деле допустила пересортицу и недостачу...

— У вас на глазах? — спросила Штатова.

И Басову пришлось попотеть. В другой раз попался Панькин.

— Я с Басовым общение имел только по работе...

— И водку на работе пили? — вскользь заметила Штатова.

И Панькин, образно говоря, полетел в воду, тщетно вымалывая у Басова опасательный круг.

Но все это произошло потом, на второй день суда, а в первый я считала Штатову своим врагом. Ее вежливостю угнетала. Уж лучше б она сердилась, но не смотрела на меня сквозь толстенные свои очки с таким видом, словно ей наперед известно все, что я собиралась говорить.

— Государственная женщина, — сказал о Штатовой Иван Иванович, когда мы шли из суда все вместе: он, я, мама, Ленка, Галя, Света и Сережка.

— Жестокая она, — возразила Ленка.

— Глупости, — сказал Иван Иванович. — Слепые вы, молодежь, как котята. Это смотря к кому — жестокая. К жулику несправимому — да. А к честному человеку... Ишь ты, как просто — жестокая!.. Я ведь Анну-то Иванну с довоенных лет знаю. Могу случай рассказать, для внесения ясности. Желаете?

— Конечно, — сказала Галя.

Ее хлебом не корми, дай послушать интересную историю.

— Значит так, — начал Иван Иванович. — Ехала она в трамвае. Ну, понятно, народу много, тесно. Вдруг чувствует: в карман к ней кто-то лезет. Глянула: мальчишка, лет этак пятнадцати на физиономию. А тот, как заметил, перепугался, ни жив ни мертв стоит. Даже руку выдернуть позабыл. Штатова его натурально — цап, с поличным. Свидетели, то, се... Пришли в милицию.

Оформились, ну и начала у него Анна Иванна выпытывать: зачем полез, да отчего... Оказалось, от семейных условий. Мамаша его умерла, а папаша — запойный... Проверила. Так оно и есть. Не врет... Ну, понятное дело, судили молодца. Может, и осудили бы, коль не Анна Иванна. Целую речь на суде произнесла. Не как свидетель, как человек говорила. С душой... Ты, Зоя, паренька-то этого знаешь...

— Откуда? — спросила я..

— А он у нас на собрании протокол вел...

При иных обстоятельствах я, наверное, здорово удивилась бы. Но в тот вечер мне было, честно говоря, не до паренька. Ни о чем ином, кроме завтрашнего дня, я думать не могла.

**
*

На второй день суда Басов, словно это не он чернил меня вчера почем зря, опять поздоровался со мной кротким голосом, а Подкова спросил:

— Как здоровьице?

— Лучше всех! — сказала я и повернулась к нему спиной.

Народу в зале было еще больше, чем вчера. Вместе с мамой сидели Ленка, Галя и Света. Чуть поодаль — Павлов, Сережка и другие ребята и девчата с завода. Пришел даже тот чубатый, что вел на собрании протокол. Судьи еще не выходили. Секретарша, скучая, оттирала промокашкой чернильное пятно с пальца. Ко мне, демонстративно стуча каблуками, подлетела Ленка. Она высокомерно посмотрела на Панькина и протянула мне яблоко.

— Держи. В перерыве съешь.

— Спасибо, — сказала я.

Ленка подмигнула мне, и губы ее задвигались в беззвучном шепоте. Это был совсем особый шепот. Таким мы подсказывали когда-то в классе.

— Трусись? — спросила Ленка.

— Очень!

— И я тоже. За тебя, за дуришу такую.

— Ты иди, — сказала я. — А то видишь — милиционер сердится.

— Это он не на нас,— громко сказала Ленка.— Ему на этих вот жуликов смотреть противно. Ты отдельно сядь, чтоб тебя с уголовниками не путали...

— Идите, гражданочка,— сказал милиционер.— Поговорили и будет.

А трусила я, действительно, отчаянно. Ну, что бы стоило Штатовой быть чуточку добродушнее на вид? Тогда бы, наверное, я не так ее боялась. Но со вчерашнего дня она, конечно, не переменилась и оставалась все такой же холодно вежливой. И я подумала, что мне рассчитывать на ее снисходительность не приходится. Тот парень только один раз залез в карман. Залез, потому что ему очень трудно жилось. А мне жилось легко. У меня была мама и вкусные обеды, и я ни в чем не нуждалась. И то, что сделала я, было просто отвратительно... Нет, Штатовой не за что меня щадить.

Я вспомнила Марата Михайловича и пожалела, что не он сидит в председательском кресле с высокой спинкой, украшенной гербом. Марат Михайлович разобрался бы. Он поверил бы мне, а не этому вралю Подкове, который сейчас глядит в зал честными глазами и кивает какому-то своему знакомому.

Добренький старичок, защитник Басова, уже что-то доказывал суду и округло поводил при этом левой рукой. Он был ужасно интеллигентный, и я подумала, что Басов, должно быть, доволен своим адвокатом. Речь шла о бумажке, которую старичок передал Штатовой.

— Это не просто характеристика,— объявил он.— Письмо, подписанное коллегами моего подзащитного по прежнему месту работы, безыскусно, но ярко повествует о его беспорочном прошлом. Позволю себе заметить, что столь хвалебные отзывы о человеке — редкость в судебной практике. Позволю себе заметить также, что отзыв сей дан лицами, осведомленными о тяжких обвинениях, возведенных на подзащитного...

— Хорошо,— сказала Штатова.— Все ясно. Какие есть еще ходатайства?

Ходатайств не оказалось, и суд начал допрашивать свидетелей. Их впускали в зал по одному; после допроса они рассаживались в рядах и превращались в слушателей. Никого из свидетелей я не знала и поэтому мало интересовалась тем, что они говорили.

Дошла очередь и до блондина лет тридцати с таким румянцем, что завидно было смотреть. Он смущался и все крутил пуговицу у себя на пиджаке. Блондин этот был соседом Панькина по квартире, и старичок-адвокат буквально засыпал его вопросами.

— А не припомните ли вы...— начинал он, и всякий раз блондин краснел.— Часто ли гражданин Басов бывал у гражданина Панькина?

— Часто,— сказал краснощекий.

— Окажите любезность и скажите суду — как часто? Ежедневно? Раз в год?

— Точно не скажу... Я не каждый день дома по вечерам сижу...

— Следовательно, слово «часто» вы употребляете произвольно?.. Ну, хорошо. А не сообщите ли вы нам, есть ли у вас данные утверждать, что встречи эти носили, так сказать, неделовой характер? Насколько я понимаю, сних данных у вас нет. В таком случае, окажите любезность и разъясните суду: не являются ли ваши показания о встречах Панькина с Басовым в некотором роде, э-э, результатом вполне добросовестного заблуждения, основанного на...

— Товарищ адвокат! — вмешалась Штатова.— Без наводящих вопросов!

— Виноват...— осекся старичок и светло улыбнулся.— Так сообщите нам, друг мой, на чем основаны ваши заключения.

Вероятно, он допек-таки свидетеля.

— Вот что,— не выдержал блондин,— может быть, они, конечно, беседовали и о служебных делах. Не в курсе. Не подслушивал. Но только водку они хлестали никак не по службе! До такой степени напивались, что через капитальную стену слышно было, как они там «Мы с тобой два берега у одной реки» распевали. Часов до трех ночи... Впрочем, не исключаю возможности, что это они совещались. На свой манер!

И тут я увидела, что Штатова смеется. Прикрыла рот платком, будто собралась покашлять, и смеется. Мне сбоку хорошо было заметно. И еще я заметила, что остальные адвокаты не очень одобряют старичка.

Потом в зал вошел широкоплечий мужчина в кожаной куртке. Это был шофер, который вез нас с Подковой с базы. Я всего один раз видела его, но запомнила.

Он рассказал, как мы получили груз, как ехали, как на полпути Подкова высадил меня. Упоминая о нас, он всякий раз оборачивался и не особенно деликатно тыкал пальцем в сторону Подковы или мою. Подкову он называл «этот», а меня «эта».

— Что сделал Подкова, когда Миронова слезла с машины? — спросила Штатова.

— Достал из кармана накладные и отдал их этой вот...

Шофера Штатова допрашивала даже дольше, чем старичок блондина. Но как-то иначе. Проще, что ли. И чувствовалось, что шоферу вовсе не неприятна такая до тошнота. Ему, по-моему, нравилась та быстрота, с которой Штатова задавала вопросы, и он старался тоже отвечать быстро и точно. Шофер подтвердил, что я говорила в суде правду.

— Подсудимый Подкова, вы слышали, что сказал свидетель? — спросила Штатова. — Значит, вы все-таки вывезли краденый сахар с базы по фиктивным накладным, подписанным Мироновой?

Подкова подскочил, как чертик на пружинке.

— Клевета! — возмущенно сказал он. — Абсолютная клевета! Не отдавал я никаких накладных по причине отсутствия их у меня в наличии... Выгораживает Миرونину... Потому как она ему, может, куры строила! Почему я знаю...

— Я тебе покажу куры! — вспыхнул шофер и шагнул к барьерчику.

— Ясно! — быстро сказала Штатова. — Садитесь, товарищ.

Но шофер сел не сразу.

— Вот что, — волнуясь, сказал он. — Не думайте, что меня гадость задела, которую этот сказал. Просто я сейчас из-за руля, устал... Ну, и нервничаю немного. Извините... А про этого я могу вам сказать так: что он пакостник — вся база знает. Любой подтвердит, какая он мокрица...

Выступали еще свидетели, затем — бухгалтер-эксперт, потом опять расспрашивали нас о разных разностях защитники и прокурор, говорили Басов и остальные.

Постепенно я уяснила себе более или менее твердо, в чем же обвиняли Басова, Подкову, Панькина и меня.

Если я все правильно поняла, то получалось так. До моего прихода в палатку Басов и остальные организовали компанию, чтоб заниматься хищениями. Но им очень мешал продавец, который работал до меня, и Панькин его уволил, обвинив в недостатке, которую подстроил Басов. Меня они тоже сначала боялись, думали, что я их разоблачу, поэтому Басов и мне подстроил недостаток. Он нарочно по телефону сказал мне неправильную цену на колбасу. Но все-таки они и тогда еще не решались много красть. Я им мешала. И Басов решил побольше меня впутать, чтобы я потом молчала. Он для этой цели и деньги из кассы предложил мне брать, и Подкова продукты привозил для мамы нарочно — в расчете, что я еще больше увязну. И я увязла. Основательно. По собственной глупости... Но Басов и остальные все-таки попались. Оказывается, за Подковой уже следили...

**
*

В начале третьего дня судебного заседания Штатова объявила:

— Судебное следствие окончено! — и предоставила слово прокурору.

Он встал, с пугающей медлительностью полистал свои заметки, заложил левую руку в карман мундира и покашлял.

— Товарищи судьи! — сказал прокурор. — На скамье подсудимых сидят расхитители социалистической собственности. Эти люди жили и действовали среди нас. Они приравнивались к сегодняшнему дню. Они читали те же газеты, что и мы, состояли в одних профсоюзах с нами, выступали на собраниях и даже считались активистами, как Панькин. Они жили скромно, вечно жалуются на маленькую зарплату и трудовые тяготы. Их жены не носили бриллиантов. И тем они отвратительнее: Басов и компания — подпольные капиталисты... Говорить о них как о простых воришках, — значит, не понимать специфики данного дела. Деньги, похищенные ими у государства, изъятые из оборота и положенные в кубышки, — это тысячи метров ткани, пар обуви, десятки станков,

которые имели бы сегодня мы с вами и государство и которые не были созданы потому, что средства, предназначенные на их оплату, на улучшение быта трудящихся, оказались в кубышках и чулках хапуг. Ясно, что зло, совершенное ими,—тягчайшее зло. Вот почему я с полным основанием заявляю: сегодня на скамье подсудимых сидят злейшие враги общества, злейшие враги трудящихся.

Особняком стоит в деле Миронова...

Мне почудилось, что сейчас, в эту вот минуту я вместе со скамьей полечу вниз. В бездонную глубину... Глаза, глаза, глаза... И никуда не спрячешься от десятков пар глаз. Они смотрели на меня...

—Роль Мироновой в деле — роль пособницы,—сказал прокурор.—Непосредственного участия в хищениях и реализации краденого она не принимала. В ходе судебного следствия установлено, что она не вступала в прямой сговор с Басовым и компанией. Меня в этом убеждает, в частности, тот факт, что за две недели до ареста Миронова вносила поправки в ценники, устраняя умышленно допущенные в них неточности. Этот факт никем не опровергнут, и в совокупности с теми доказательствами, которые получены нами и о которых я еще буду говорить, свидетельствует в ее пользу... Но сейчас я скажу о другом. Жизнь Мироновой в последнее время складывалась неблагоприятно для нее. Смерть отца, болезнь матери, шантаж со стороны Панькина, умело вырытые руками Басова «ямы» — было от чего растеряться. И все же, учитывая эти обстоятельства, смягчающие ее вину, я не вижу оснований для ее оправдания. В период житейских затруднений она не боролась, не искала помощи. О многом догадываясь, многое видя, кому она жаловалась, куда сигнализировала?! Путь, избранный ею — это не наш путь. Он мог привести, должен был привести и привел ее к преступлению.

В этой связи позвольте мне сказать несколько слов о воспитании. Я знаю, что в зале присутствует мать Мироновой, и ей нелегко будет выслушивать те обвинения, которые я, по совести, не имею права не высказать в ее адрес.

Как и вы, товарищи судьи, я задавал себе вопрос: почему комсомолка Миронова оказалась здесь, на одной скамье с последними могиканами преступного ми-

ра? Почему? Кто виноват? Семья? Школа? Она сама? Попробуем разобраться.

Школа. Миронова числится как прилежная ученица. Она примерно учится, тихо ведет себя в классе. В надлежащий срок вступает в комсомол. И на нее не обращают внимания. Классную руководительницу беспокоят двоечники, «трудные» ученики. До прилежных ей нет дела. Мы не вызывали классную руководительницу в суд, и она не присутствует здесь. Но она давала показания на предварительном следствии. «Не знаю», «не в курсе событий», «не имею представления» — вот ее ответы на вопросы следователя. И это — классный руководитель? И это — педагог? Да простят мне резкое выражение — это чиновник в юбке, формалист. И только!

Семья. Здесь внешне тоже все благополучно. Отец Мироновой, как мы знаем, был человек весьма положительный, настоящий коммунист. Мать, казалось бы, любит свою дочь, заботится о ней. В чем же дело? Напомню об одном факте. Миронова по окончании школы хотела пойти на завод. Решение принято и должно быть осуществлено. Но вмешивается мать. Она бьет во все колокола: тревога! Интеллигентная девочка, примерная дочь совершает губительный шаг! Аврал! В ход пускается все: уговоры, слезы, нажим. Самостоятельность дочери пугает мать. Зоя представляется ей какой-то Красной Шапочкой, которой угрожают волки. Мать забывает, что тысячи восемнадцатилетних осваивают целину, строят дома, стоят у станков. Это — чужие дети. А своему ребенку она сама изберет дорогу. Заметьте, не Зоя выберет, а мать за нее... Итак, перед Зоей выбор: или ссора с матерью, или отказ от цели. В результате мать и дочь избирают средний путь — Зоя приступает к работе в заводском ларьке. Как-никак, профессия все-таки «чистая» — ни тебе ссадин, ни машинной грязи на руках... Что же касается ссадины на сердце — ерунда, заживет... Итак, компромисс. Пусть вспомнит сейчас Миронова, из скольких компромиссов и маленьких сделок с совестью состоит ее жизнь? Капля за каплей, сделочка за сделочкой, и в психологии человека что-то ломается. Незаметно, постепенно, шагок за шагом вчерашняя пионерка и комсомолка превращается в обывательницу, в мешаночку. Она начинает двурушни-

чать. Так слепая материнская любовь превращается в зло...

Ну, а дальше? Дальше мелькнет некто Гольцов. Тот же чиновник и формалист, но несколько иного толка, чем классная руководительница. Для характеристики Гольцова и методов его деятельности в качестве инструктора райкома комсомола, а значит — идейного вожжа Мироновой, я приведу один факт. О моральном лице комсомольца Гольцов судил лишь по тому, насколько своевременно тот уплатил взносы! Ни больше, ни меньше! Своевременно — настоящий комсомолец; задержал — хвостист...

Он еще долго говорил. Но уже не обо мне, а о Басове, Подкове и Панькине. Ко мне прокурор снова вернулся в конце речи.

— Итак, с Басовым и компанией все ясно. В отношении Мироновой ясно не все. Как далеко зашла она в своем малодушии? Как далеко оно могло бы завести ее? Это предстоит решить вам, товарищи судьи. Юридическая квалификация проста: пособничество. Оценка же личности Мироновой, которая позволит вам правильно решить вопрос о ее ответственности, должна основываться на материалах дела и других исследованных в судебном заседании данных, характеризующих подсудимую.

Со своей стороны я отмечу, что если вы избережете для нее наказание, не связанное с лишением свободы и изоляцией от общества, в чьем руководстве и в чьей поддержке она нуждается, у государственного обвинения, которое я здесь представляю, не будет возражений.

Однако пройти мимо преступления Мироновой и оправдать ее нельзя! Преступление совершено, и Миронова должна понести наказание!..

Потом выступали защитники Панькина и Подковы, убаюкивающе журчал старичок-адвокат.

Наконец, Штатова сказала:

— Общественный защитник Евсеев! Прошу вас...

Иван Иванович встал, снял очки, подышал на них, протер платком и снова водрузил их на свой горбатый нос.

— Вот оно какое дело, — начал он. — Я вам сначала расскажу одну притчу...

Прокурор посмотрел на Штатову, но та сказала:

— Продолжайте, пожалуйста.

— Умер вот один человек. На том свете ему и говорят: поскольку ты при жизни почти не грешил, чего бы ты сейчас хотел? Что пожелаешь, то и выполним за твою праведность. И человек сказал: хочу я еще раз родиться. Удивились: зачем тебе? А он отвечает: чтобы все свои ошибки до конца исправить... Вот оно какое дело... Я это так понимаю: сего дня Зое Мироновой вроде приходится рождаться по второму разу. А рождение — оно всегда с болью. Каждая мать вам это скажет... Как ей судьбу сложить — вы решите, судьи, а не я. Но наш коллектив говорит: иди, мол, Евсеев, в суд и скажи, что Миронова не пропащий человек. Накажите ее, но потом отдайте нам, чтобы мы ее воспитали. Многие в нашем орсе и на заводе хорошо знают Миронову, особенно молодежь, — вместе с ней росли, учились. Опять же отец ее на заводе работал... И считаем мы ее нашим, заводским человеком. Поэтому я вполне ответственно говорю: не ошибетесь, если поверите, что у нас Зоя Миронова в настоящие люди выйдет...

Спрятав лицо в ладони, я с замиранием сердца слушала Ивана Ивановича. О, если бы только мне поверили!..

Шло время. В своем последнем слове что-то доказывал Басов, перечислял свои заслуги Панькин, клялся и божился Подкова. А я все думала, что, может быть, Штатова и заседатели поверят мне. Я стану совсем-совсем другой, самой хорошей. Я не буду мещанкой. Честное слово! Вот только бы судьи поверили мне!.. Поверили же Марат Михайлович, Иван Иванович, рабочие, Павлов!..

— Подсудимая Миронова, — обратилась Штатова ко мне. — Суд предоставляет вам последнее слово.

Я встала и, глядя прямо перед собой, сказала твердым голосом:

— Я прошу суд поверить мне. Очень прошу! Такое больше никогда не повторится. — Голос мой сорвался и я тихо закончила: — Я оправдаю доверие... Оправдаю всей своей жизнью. Обещаю это...

Я села на место. Сухой комок застрял у меня в горле. В зале стояла тишина.

— Суд удаляется для вынесения приговора, — объявила Штатова.

Вместе с заседателями она ушла в соседнюю комнату. Я слышала, как с хрустом повернулся ключ в замке.

Ко мне подбежала Ленка.

— Успокойся, — сказала она. — И знаешь что — брось шмыгать носом! Противно даже...

— Тебе хорошо!

— Куда лучше, — протянула Ленка. — Мою подругу судят, а мне хорошо! Не стыдно тебе?..

А я все думала, что, может быть, суд поверит мне. Ох, если бы мне поверили!

— Ты что бормочешь? — спросила Ленка.

— Я?.. Нет, ничего...

— Ой врешь! Я же слышала: все просишь, чтоб тебе верили. Поверят!

— А ты откуда знаешь? — спросила я.

— Знаю, — уверенно сказала Ленка. — Что, по-твоему, судьи не разберутся? Еще как разберутся! Ты лучше о будущем думай.

Все советовали думать о будущем... Все спрашивали, как я собираюсь жить дальше. А как? Я не знала. Знала одно — иначе... И еще: надо быть смелой, честной, справедливой. И мужественной, как хотел мой папа...

Зал постепенно наполнялся. Вернулись адвокаты, прокурор. Ко мне подошел Павлов и пожал руку.

— Здравствуй, — сказал он серьезно. — Нам надо поговорить...

— Когда? — спросила я.

— Позже. А сейчас, наверное, судьи выйдут.

И, действительно, судьи вскоре вышли. Все встали. В зале было очень тихо. Штатова, близоруко щурясь, сказала:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...

Пока Штатова читала приговор, я смотрела в зал, на наших: маму, Павлова, Ивана Ивановича, девчат. Они стояли все вместе, и лица у них были до странности похожи в эту минуту — напряженные, но спокойные. словно самое страшное осталось позади...

— Исследовав доказательства, — читала Штатова, — суд установил, что подсудимые Басов, Панькин и Подкова по сговору между собой, путем злоупотребления служебным положением, расхищали государственное

имущество... Таким образом, преступление, совершенное ими, должно быть квалифицировано по статье девяносто второй части второй Уголовного кодекса РСФСР... — Штатова сделала паузу. — В отношении Мироновой суд установил, что она содействовала совершению Басовым, Подковой и Панькиным хищений и действия ее квалифицируются по статье семнадцатой и девяносто второй части второй Уголовного кодекса РСФСР...

Суд приговорил: Басова Павла Ивановича признать виновным по статье девяносто второй части второй Уголовного кодекса РСФСР и определить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. По отбытии наказания запретить Басову П. И. работать в торговой сети... Панькина Сидора Аркадьевича... на семь лет... Подкову Петра Денисовича... на пять лет... Миронову Зою Сергеевну... на один год...

Зал закачался и поплыл куда-то. Я закрыла глаза.

— Учитывая, однако,— продолжала Штатова,— что преступление совершено ею в результате стечения тяжелых семейных обстоятельств и в силу служебной зависимости от Басова и Панькина; учитывая также, что совершено оно впервые; учитывая чистосердечное раскаяние Мироновой и то обстоятельство, что с момента возбуждения уголовного преследования Миронова своими показаниями активно способствовала раскрытию преступления; учитывая наличие в деле ходатайства коллектива орсса Машиностроительного завода о передаче Мироновой коллективу для перевоспитания; руководствуясь статьей сорок четвертой Уголовного кодекса, суд постановил: в отношении Мироновой применить условное наказание с испытательным сроком в три года и возложить на коллектив орсса Машиностроительного завода обязанность по ее перевоспитанию и исправлению...

А зал все плыл и плыл перед моими глазами. И я плыла вместе с ним. И казалось, что все мы — Штатова, прокурор, Иван Иванович, Павлов, мама, Ленка — плывем куда-то вперед, в еще неясное, но близкое будущее. В то самое будущее, в котором не будет места ни Басову, ни Панькину, ни Подкове...

Штатова дочитала приговор до конца и посмотрела в зал.

— Приговор ясен?..— спросила она.— Заседание суда считаю закрытым.

Иван Иванович и Павлов подошли ко мне. Они улыбались.

— Ну, что ж, пошли! — предложил Павлов.

— Идем, Зоя! — сказал Иван Иванович. — Идем с нами...

ОТ АВТОРОВ

Рассказ Зои Мироновой мы решили оставить без эпилога.

Не пишем его сознательно. В жизни Зои ему еще нет места.

Можно, конечно, написать очень голубой или очень розовый эпилог и сделать Зою Миронову образцовой работницей, но... Но не лучше ли просто повторить слова Ивана Ивановича:

— Идем, Зоя! Идем с нами!..

И на этом поставить многоточие.

